



Дина Ильинична Рубина Наш китайский бизнес (сборник)

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164373
Наш китайский бизнес: Эксмо-пресс; М.:; 2006
ISBN 5-699-10503-8*

Аннотация

На редкость талантливая и обаятельная рассказчица... Дина Рубина – мастер, поразительно умеющий видеть, слышать, вникать в окружающее. Успех повестей и романов Рубиной знаменателен и закономерен. В русской прозе сейчас побеждает артист...

Содержание

Вот идет Мессия!..	5
Часть первая	5
1	5
2	14
3	17
4	27
5	36
6	40
7	47
8	50
9	57
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Дина Рубина Наш китайский бизнес

Дорогой читатель Андрей!
Желаю от всего души —
радости, здоровья, любви!



Вот идет Мессия!..

Часть первая

Я верую полной верой в приход Мессии, и хотя он медлит, я буду ждать каждый день, что он придет.

Маймонид. 13 принципов веры

– Доброе утро, дорогие радиослушатели! Радиостанция «Русский голос» начинает свои передачи из шестой иерусалимской студии. Сегодня девятнадцатое марта, вторник, по еврейскому летоисчислению – каф зайн месяца адара, пять тысяч семьсот пятьдесят пятого года. Прослушайте сводку новостей, с которой вас познакомит Алона Шахар.

– Пятеро солдат убиты и четверо ранены в результате вчерашних столкновений с террористами из отряда «Хизбалла» на границе с Ливаном. Боевики «Хизбаллы» привели в действие взрывное устройство, когда наши солдаты патрулировали...

1

– А между тем, Машиах придет в две тысячи седьмом году! – Сема закурил и, спохватившись, стал ковшиком ладони предупредительно гонять дым перед носом собеседницы. – И я это с детства знал.

– Да? – вежливо заметила она, размешивая ложечкой сахар в кофе.

Буквально минут за пятнадцать до того они закончили писать в студии радиопередачу на тему «Литературная Родина». Сема, ведущий передачи, спрашивал ее, редактора литературного приложения одной из русских газет, – возможно ли, по ее мнению, дальнейшее развитие русской литературы в условиях Ближнего Востока. И она абсолютно серьезно отвечала, хотя за выступление не платили, как и за многое другое. Да если б и платили?

Смешно, копейки... Нет, это она из дружеского расположения к Семе согласилась прийти и, рискуя репутацией приличного человека, нести в эфире тошнотворную ахиною: да, она считает, что... уникальная культурная ситуация... благодаря массовой репатриации, в нашем государстве образовалась концентрация творческих сил... влияние на дальнейший расцвет...

Какой расцвет?! Расцвет – чего?! Дайте спокойно умереть... Впрочем, Семины литературные передачи шли на Россию, а значит, их никто не слушал.

Под конец, перечисляя авторов своего литературного еженедельника, она увлеклась и разогрелась настолько, что даже прочитала несколько строк стихотворения Вали Ромельта. Словом, забыла – где и зачем находится.

– Ну что ж, впечатляет! – суетливо перебил ее в конце строки Сема Бампер, глядя на часы и пальцем рисуя в воздухе круг. – Итак, напоследок буквально два слова: ваши планы?

– Планы? – переспросила она. Своими идиотскими кругами перед носом Сема сбил ее с настроения. К тому же о планах публикаций на ближайшие номера она уже говорила.

– Ну да. В глобальном смысле.

И опять судорожные круги в воздухе, обеими руками: закругляйся, мать! В глобальном смысле, подумала она, эту передачу никто не услышит.

– В глобальном смысле, – гордо, и даже торжественно сказала она в микрофон, – мы и впредь намерены выплачивать авторам небольшой, но твердый гонорар.

Сема подавился заранее приготовленной репликой, должной завершить эту кругленькую передачу.

– Ну, гонорар! – воскликнул он бодро. – Это не главное в творчестве, а лишь незначительное производное.

– К сожалению, незначительное, – поспешно согласилась она. – Зато мы с моим коллегой, графиком Витей, вот уже пятый год получаем приличное жалованье. Разве это – не победа над хаосом эмиграции?

Сема округлил глаза, замахал руками и выключил микрофон.

– Вырежу! – пообещал он. – Оборву на стихах Ромельта и пущу Дюка Эллингтона... Хороша, нечего сказать! Гонорар, жалованье, деньги... Старуха, ну нельзя же так... приземленно смотреть на высокое.

– По поводу высокого, – сказала она, вздохнув, – мы чуть ли не единственные, кто платит авторам в этой е...ной русской прессе...

Потом они спустились в местный буфет – большую, вполне уютную комнату на первом этаже, с панелями, незатейливо обшитыми формайкой, – и взяли по чашечке кофе.

Ей вообще-то хотелось пива, но неудобно было обременять Сему – он угощал. Порядочки: за выступление авторам они не платят, но могут оплатить такси и – как стопарь водки грузчику после работы – свести после передачи в буфет.

Сема, как и многие, заблуждался по поводу ее пристрастий – она бы сейчас выпила пива. А может, и граммов пятьдесят коньяка – перед тем, что ей еще сегодня предстояло.

К тому же он вдруг затеял этот идиотский разговор о Машиахе, и она побоялась опять выглядеть слишком приземленной со своей просьбой о пиве.

– А я попробую задержать на год его пришествие! – лукаво и победно закончил он, раскачиваясь на задних ножках стула.

– Зачем? – осторожно спросила она. То, что евреи екнулись на пришествии Мессии (поздешнему Машиаху), она, конечно, знала и раньше. Но то поголовное, повсеместное, профессиональное ожидание Мессии (ожидание, с вокзальным, справедливо добавить, оттенком), с каким она столкнулась в этой стране, поначалу ее даже обескуражило. К счастью, она сразу поняла, что Ожидание является здесь образом жизни, основным ее содержанием, а она свято относилась ко всему, что составляло основное содержание жизни любого человека.

А тут еще две тысячи лет... С застарелыми болями вообще следует обходиться осторожно, и никаких резких движений...

Сема подался вперед, хлопнувшись на все четыре ножки стула.

– Понимаешь, мне по гороскопу положена в скором будущем одна величайшая международная премия в области изобразительного искусства. Мне ее сперва получить надо, а потом уж... Вообще же Машиах... – Сема остро глянул на нее из-под колючей брови, и она вовремя сделала преданное лицо, все-таки, он угощал. – С этим, видишь ли, не все так просто... Ведь Машиахом могут стать некоторые из нас, пути не заказаны. В конце концов, в еврейской традиции, то есть в источнике, Машиах – вполне телесный, реальный человек, полный сил и радости. В ТАНАХе сказано: «Говорил Давид: буду веселиться я пред Господом». А еще сказано: «И Давид плясал изо всех сил пред Господом; а опоясан был Давид льняным эйфодом». Так что вот, живешь ты, живешь... и вдруг ощущаешь в себе концентрацию неких мощных сил... Так что опрощать не стоит... Ибо Машиах – это... – Он пристально и многозначительно рассматривал столбик пепла на сигарете.

– Это ты? – коротко догадалась его собеседница. Сема запнулся, внимательно поглядел на нее, что-то прикидывая в уме, и наконец проговорил:

– Помолчим пока об этом... Он проводил ее до проходной, очень складно разместившейся в этом доме старой арабской кладки. Изнутри все было перестроено и модернизи-

ровано: автоматически раздвигающиеся двери, зеркала, стойка с телефонами, за которой сидели солдаты – двое парней и девушка.

Они громко над чем-то смеялись и, смеясь, машинально отдали ей паспорт, который она час назад сдала, получая пропуск на студию...

– Ты куда – домой? – спросил Сема, по-домашнему оправляя на ней воротник плаща. – А мне еще экскурсию вести.

– Ты водишь экскурсии? – удивилась она, хотя давно дала себе слово не удивляться ничему в этой стране, и в частности Семе Бамперу.

– Да я бы с удовольствием послал на фиг всех туристов, но видишь ли, – Сема улыбнулся застенчивой улыбкой, – моя слава ведущего русского экскурсовода бежит впереди меня...

Она представила себе Семину славу, трусящую впереди него в образе собаки, на бегу выкусывающей блоху. И как Сема поспекает за этой своей славой, то и дело поддавая ей ногой под хвост.

Сема Бампер давно уже поражал ее жизнерадостной доброжелательностью ко всем, широтой души и абсолютной незлобностью. А ведь в молодости Сема был боксером, подумала она. Бил морды, надо полагать. И ему били... До известной степени Сема оставался для нее загадкой.

– А кого ты сегодня водишь? – спросила она.

– Одну миллиардершу-магометанку из Набережных Челнов и ее рабыню-христианку, – сказал Сема. – Раскидаю их по святыням, и будь здоров...

Нет, прочь, прочь отсюда, пока бедный разум вмещает хоть какое-то подобие реальности... Миллиардерша-магометанка. Причем из Набережных Челнов. И ее рабыня, значит. Христианка.

– Рада была повидать тебя, – сказала она и пошла вверх по узкой и крутой улице Королевы Елены, по которой всегда боялась ходить в сумерках. Улочка была не из приятных: слева тянулся забор столетней каменной кладки, справа зияли мусорные подворотни – эта улица спускалась к старому и неуютному району Мусрара, граничащему с Восточным Иерусалимом.

Ничего, спокойно: отсюда метров сто до освещенного перекрестка, до пригласительно светящихся полуарочных окон курдского ресторана «Годовалая сука». Иди ровно, дыши легко и не оборачивайся на подозрительные шаги за спиной... Да, а в «Годовалой суке» подают великолепный «марак-кубэ», острый суп, в котором плавают большой жареный пирожок... И недорого, шекелей семнадцать...

Сзади щелкнул затвор оружия.

Шея!!!

Она рывком – как всегда, нелепо, жалко дернувшись, – оглянулась.

За нею неторопливо трусил старичок с пуделем, пощелкивая кнопкой переключения длины ремня на ободке поводка. Мирный старикан, очаровательный пудель. Человек прогуливает своего пса, идиотка ты старая...

Не вернусь сегодня, решила она. Чтоб мне провалиться, – именно сегодня ехать нельзя!

На остановке она позвонила домой из телефона-автомата. Взял трубку муж.

– Я не вернусь сегодня, – сказала она.

– А когда-нибудь вернешься? – спросил он, как обычно, по отношению к ней – насмешливо-меланхолично. Он был человеком сильных страстей, и ради нее когда-то в одночасье пустил по ветру всю свою прошлую жизнь.

– Когда-нибудь вернусь. Ты уложил Мелочь?

– Да спит, спит...

– А Кондратику температуру мерил?

– Не волнуйся, он даже немного поел... Мелочь – была семилетняя дочь, вымученный поздний ребенок. Кондратик – годовалый тибетский терьер, единственная радость сердца, внимательный собеседник и душа-человек...

– Зяма! – сказал вдруг муж, и она задержала трубку. – Вы мне нравитесь! Вы – неброская женщина, но мне вы подходите. Кто у меня остался, кроме вы!

Она засмеялась и повесила трубку.

Успела вскочить на подножку автобуса. Завтра семичасовым ехать на работу в Тель-Авив, и действительно, разумнее переночевать у родителей.

Они снимали квартиру в двух минутах ходьбы от автобусной станции.

* * *

Это мужское имя она получила в честь деда Зямы, Зиновия Соломоновича, старого хулигана, остроумца, бабника и выпивохи, комиссара и гешефтмахера, – коротышки дьявольского обаяния.

Его невестка, родив вместо ожидаемого сына недоношенную девочку, все-таки упрямо назвала ее Зиновией – к ужасу и возмущенным воплям всей еврейской родни.

У евреев запрещено называть новорожденного в честь еще живущего человека. Считается, что этим ты как бы намекаешь живому, что ему уже есть какая-никакая замена поновее и он может быть свободен от занимаемого на земле места.

Если вдуматься, так это действительно некорректно. Что ей – мало было имен, тем более женских – легких, звучных, раскатистых: Регина, например, Маргарита, Вероника...

Но мать была упряма, молода, по отцу вообще была русской (а у тех, наоборот – принято называть детей в честь вполне еще полнокровных людей). На еврейские обычаи и заведенные давным-давно привычки мать смотрела со снисходительным спокойствием. К тому же она боготворила деда. Впрочем, как и все женщины, когда-либо его окружавшие.

Поначалу в семье пробовали называть девочку Зиной (Зиночка, Зинуля). Но она уродилась такой копией деда, особенно в раннем детстве – до карикатурного сходства: щеки свисали на плечи, крепкие толстые ножки проворно семенили вразвалочку, круглые зеленые глаза так лукаво и пристально разглядывали этот мир, что домашние сдались. Она была Зямой, урожденной Зямой, и ничего тут уже не поделаешь.

И так, под обиженные причитания еврейских теток и дядьев, прожили они – Зяма и Зяма – во взаимном обожании целых девятнадцать лет, до того дня, вернее, утра, когда дед не проснулся, не открыл глаз, не вставил новенькую дорогую челюсть, не крикнул на всю квартиру: «Мамэлэ, иди послушай этот сон, ты лопнешь со смеху!»

Он умер во сне мгновенной легкой смертью праведника, с вечера... – да, по-видимому, без этой детали не обойтись, – с вечера вымыв ноги.

Вот это «с вечера вымыв ноги» упоминалось в родне непременно, когда заходила речь о смерти деда Зямы, словно в этом немудреном действии заключен был некий мистический смысл очищения от праха земной юдоли, а возможно, и от конкретных земных грехов краснобандитской его юности, с ее боями, погромами и пьянством, с его знаменитыми комиссарскими сапогами.

Дед умер во сне, с вечера вымыв ноги.

Понятно, что на этом могли заикнуться тетя Бася, Фира или дядя Исаак, ну даже отец – куда ни шло. Но Зяма-то, Зяма! – к тому времени студентка второго курса консерватории, – при чем тут это предсмертное омовение ног?!

Нет, и много лет спустя, рассказывая о смерти деда, заранее дав себе слово обойтись без уточнения никому не интересных обстоятельств, она говорила светло и просто:

«Деда умер во сне, как праведник... – и, чувствуя, как некая смысловая сила, подобная тугой струе воздуха, втягивающей соринку в хобот пылесоса, тащит ее к завершению фразы, – покорно и тихо заканчивала: —...с вечера вымыв ноги...»

Дед умер в разгар ее первого романа, о котором знал только он, он один («ай, мамэлэ, брось, он не стоит твоих вдохновенных соплей! Не подойдет этот – возьмем другого»).

К тому времени Зяма переросла деда на целую голову, возможно, благодаря своей невероятной шее.

С этой шеей хлопот было немало: высокая поднялась шейка, с характерным прогибом, – девочку с детства затаскали по врачам. Мать волновалась: не зоб ли это намечается? Записывались в очередь к светилам эндокринологии, сдавали анализы. Пока наконец пожилая женщина, врач, профессор Сарра Михайловна Крупская (визит пятьдесят рублей) не сказала:

– Оставьте вы ребенка в покое. Это именно то, что в сказках зовется «лебединой шеей».

Позже, когда вполне уже выросла – к десятому классу, Зяма научилась своей шеей пользоваться, когда это было нужно: черная бархотка, кованный, грузинской искусной работы ошейник, кружевной высокий воротничок, и над этим – очень короткая (не заслонять же такую шею!) стрижка...

Все это были сильнодействующие средства.

Нет, не собираюсь я описывать ее внешность. Да и что еще не описано? Все описано. Возьмите лоб: высокий, низкий, покатый, скошенный и т. д. Это – что касается формы. Фактура: гладкий, бугристый, чистый, прыщавый, обветренный и пр. Цвет: бледный, смуглый, желтый, красный, синий, коричневый... да практически все цвета и оттенки. Ну, вот еще – пятнистый, если вам угодно. Состояние: вспотевший, холодный, горячий, остывший... Да смотрите, в конце концов, «Словарь эпитетов»!

Нет, все описано. Даже мочки ушей. Даже корни волос. Нет нужды напрягаться.

Но вот эта шея – трогательной красоты и стати, и ладно посаженная на ней аккуратная головка... нет, ничего особенного – короткий темный шатен и расхожий набор черт лица, выточенных и пригнанных природой ловко и с явной симпатией, – вот и вся Зяма, не считая, конечно, всего остального – в юности тонкого, узкого, незамечаемо легкого, как змейка, к сорока годам же...

Кстати, о возрасте.

Зяма, как и всякий российский интеллигент, страдала раздвоением личности. То есть она не очень и страдала, просто жила каждую минуту с разных точек зрения. Поворачивала эту данную минуту и так и сяк, рассматривала ее под разным освещением. С одной стороны, конечно... но с другой стороны...

Возьмем такую несомненную определенность, как возраст. Человек рождается, и так далее. Соответственно, каждый год ему исполняется столько-то и столько-то. И наконец исполняется ему сорок. Это с одной стороны.

С другой стороны, Зяма твердо помнила, что ей четырнадцать лет (известно, что каждый человек застревает на каком-то своем, присутствии его психике, нервам и мироощущению возрасту).

Недавно, к примеру, побывала Зяма у врача.

Специалист, быстроглазый хмурый мужчина со шкиперской бородкой, минут пятнадцать деловито занимался Зяминой, вполне заурядной, грудью – где-то поприжал, где-то пробежал пальцами, как по клавиатуре, помял под мышками, заставлял поднимать и опускать руку. С левой возился дольше, видно, она ему больше понравилась: прижимал и отпускал, рассматривал, откинув голову и прищурился; он как-то обособил ее от правой... словом, показал себя эстетом. Потом разрешил одеться и сел к компьютеру.

– Сколько тебе лет? – спросил он, набирая что-то на экране. К этому Зяма привыкла – к тому, что в иврите нет обращения на «вы».

– Четырнадцать, – обронила она задумчиво, застегивая лифчик.

За ее спиной перестали щелкать по клавиатуре, повисла вежливая пауза. Зяма продела руки в рукава свитера, натянула его на голову и обернулась.

Врач смотрел на нее пристальным доброжелательным взглядом.

– Сколько? – с мягким нажимом переспросил он.

Зяма очнулась.

– Ой, извини! Сорок...

Так о возрасте: Зяма любила выбрасывать старые вещи. И не очень старые. И просто надоевшие. Выбрасывать, отдавать, убирать с глаз долой, расчищать пространство, выметать мусор, освобождать площадку. Чувствовала при этом взрыв радостного обновления жизни, возобновления действия – итак, продолжаем! в следующей главе нашего рассказа...

Она выбрасывала все. Если летела набойка на каблуке, Зяма с облегчением выбрасывала туфли. Не говоря уже о дырочках на носках, о треснувшей по пройме рубашке...

Так она выбросила первого мужа, заметив, что ее любовь к нему совершенно износилась и нуждается в основательной штопке...

Было в этом высвобождении из старой шелушащейся кожи прошлых обстоятельств, связей и вещей некое тайное чувство, которое ужасало ее: когда умирал старый больной человек, Зяма испытывала такое же – о, ужасное, постыдное, безнравственное! – чувство разумности и естественности освобождения пространства, обновления жизни: итак, продолжаем! в следующей главе нашего рассказа...

С некоторых пор Зяма приглядывалась к своему отражению в зеркале.

Собственно, ее худощавое, с корректными чертами лицо не менялось: счастливая суховатая порода, дедова закваска, крепкие ноские гены – жизнь тут ни при чем. Так, лишь обозначилась вертикальная морщинка между бровями и округлилась линия подбородка. Естественные возрастные изменения. Но она вглядывалась в себя деловито-хозяйским, холодным глазом, словно прикидывала – не пора ли выбросить эту пообносившуюся физиономию?

* * *

Автобус номер 405, следующий по маршруту Иерусалим – Тель-Авив, осаждали ребята из бригады «Голани», и она удивилась тому, что среди бойцов этой прославленной бригады довольно много невысоких шуплых мальчиков с торчащими кадыками. Открыв все багажные отсеки автобуса, они забрасывали внутрь тугие тяжеленные баулы. Несколько штатских смиренно перебирали ногами в общей очереди.

Позади Зямы курили двое в форме летных частей.

– Они займут весь автобус, эти «Голани», – неодобрительно заметил один из летчиков. – Такие наглые!

Второй, рядом с ним, был русским. Этнически русским: пшеничная круглая голова, белесые короткие ресницы – ну просто механизатор совхоза «Красная заря» где-нибудь под Черниговом. Он докурил, отщелкнул окурочек и проговорил с досадой, почти без акцента:

– Опять опоздаем...

Господи, все перевернулось, подумала она, все смешалось, лопнуло, потекло, растеклось по землям...

...Она сразу и без усилия вобрала в себя и эту страну, и население, поначалу изумившее ее горластостью и простотой. А ведь мы, выходит, – народ восточный, открыла она с необычным для нее, глубинным смирением. Приняла это, как впервые вбираешь потрясенным взглядом лицо своего ребенка, поднесенного к твоей груди на первое кормление. В ее

памяти всплыли подзабытые словечки и присказки деда: он говорил «мейлэ», когда имел в виду «ладно», вздыхал часто: «Хоб рахмонэс»¹ и имя Иерусалим произносил как «Ершолойм».

Еще она вспомнила, что по субботам он почему-то носил в доме туркменскую тюбетейку и сам был ужасно похож на старого туркмена, со своими «мейлэ» и «хоб рахмонэс». Все было правильно: мозаичный узор судьбы подбирался по камушку, складывался медленно и старательно. И – поняла она – удивительно верно. В первые же дни она ощутила себя камушком, точно вставленным в изгиб узора огромного мозаичного панно, кусочком смальты, которые подбирает рука Того, кто задумал весь узор.

Ах, пошел бы Зяме Париж! Или Кельн, или Ганновер. Легкой утренней пробежкой в светлом плаще, переулком-ущельем между зданий готической архитектуры... Да делать-то нечего. Нечего делать, господа: лицо своему ребенку не переродишь...

Но за это смиренное приятие была она вознаграждена сразу и с лихвой: стала встречать на улицах, в магазинах, в транспорте своих умерших родственников. Так, вдруг разительно больно совпадали в чужом человеке тип лица, и походка, и манера совать под мышку свернутую в трубочку газету – вылитый дядя Исаак, только чуть больше лысина на затылке, – так ведь сколько лет после его смерти прошло.

А сколько раз она уже натыкалась на деда! Дважды бежала следом, чтобы еще раз в лицо заглянуть (хотя осознавала, конечно, что выглядит странно). И радостное вздрагивание души, захлестнутое дыхание, спазм в горле, слезы на глазах – были ей такой наградой за все безумие отъезда...

...В автобусе она села позади водителя – марокканского еврея, сработанного из цельной глыбы. Так работают скульпторы, обобщая детали:

круглая голова – литая шея – мощно отлитые плечи, огромные ладони, слитые с баранкой. И даже складки на мягкой фланелевой рубашке с откинутым на спину капюшоном казались слитными со всеми его скупыми движениями и сделанными из того же материала, например из терракоты.

Челночными осторожными ходками двухэтажный автобус выбрался с площади перед центральной автостанцией и узким подъемом, то и дело застревая в потоке истерично гудящих легковушек, – круто влево и круто вправо – наконец выровнялся на шоссе номер один.

Слева и сзади высоко завис Иерусалим, а справа внизу – кругами разошелся белый, в голубовато-молочной пенке облачков, приперченный красной черепицей Рамот.

Этот выезд, этот первый поворот на шоссе, этот вылет в простор Божьей сцены всегда напоминал ей те первые мгновения, когда самолет уже оторвался от земли и набирает высоту, и бегут внизу и косо вбок веселые лоскуты луговой зеленой замши и черно-зеленая щетинка лесов...

Постоянное и всегда смешливое изумление вызывала в ней кукольная отсюда башенка мавзолея над могилой пророка Самуила. Так ладно, уместно, нарочито театрально венчал этот мавзолей один из дальних круглых холмов. А однажды, пасмурным утром, она видела прожекторно-желтый луч, настырный, как указующий перст. Он упирался в башенку мавзолея, прорвав стеганное дождем, тяжелое небо. На этой земле, под этим небом, с их театральными эффектами, легко было трепетать перед Всевышним...

Рядом с ней сел солдатик из «Голани», винтовку поставил меж колен, дулом вверх. Она взглянула мельком – кустистые черные брови над горбатым носом, суровое горское лицо. В проходе, прямо на своем бауле сидела девочка в форме танковых частей.

Почему ему не приходит в голову уступить девочке место, с досадой подумала Зяма. Ну да, они – солдаты, оба солдаты...

¹ Хоб рахмонэс – будь милостив (иврит).

Они негалантны, подумала она со вздохом. Нет, не галантны...

В эту минуту раздалось тошнотворно знакомое позвякивание меди в пустой жестянке из-под «колы». Так и есть. И опять она не заметила, как проскользнул, как ввинтился, как просочился этот тип в автобус.

Равномерное позвякивание приближалось, вот уже на ступеньках лестницы со второго этажа показались грязные босые ноги в коротких чужих брюках с незастегнутой, как обычно, ширинкой, затем – вышитая жилетка на голое тело – вогнутая волосатая грудь с розовым серпообразным шрамом под сердцем – и, наконец, тревожно улыбающаяся, безумная физиономия иранского еврея лет сорока.

Мустафа, будьте любезны.

Он спустился по лесенке и, потряхивая банковской, крикнул:

– Мустафа шатается!

Пассажиры, страдальчески морщась и вздыхая, отвернулись к окнам или уткнулись в газеты.

Он побежал по автобусу, натываясь на солдатские баулы, погромлив жестянку и распространяя вокруг сложный запах пота, пива, мочи и дезодоранта. Добежав до водителя, громыхнул медью над его ухом и объявил опять тревожно и внятно:

– Мустафа шатается!

Здоровяк за рулем сказал, не повернув головы:

– Высажу!

И эта короткая угроза произвела на безумного голодранца действие не только усмиряющее, но даже успокаивающее. Он сел на ступеньку, заулыбался и запел, ритмично встряхивая баночку.

«Вот, вот идет Машиах...» – пел он, и мимо уносились крутые склоны лесистого ущелья Иерусалимского коридора.

Мустафа жил в автобусах номер 405, следующих по маршруту Иерусалим – Тель-Авив. Водители пускали его без билета, потому что Мустафа не занимал места. Он бегал по автобусу, снедаемый страшной, неутихаемой тревогой. Если он особенно сильно оживлялся, топал и нестерпимо громко пел о Машиахе, беспокоя пассажиров, следовало только пригрозить ему высадкой на шоссе. Он мгновенно стихал, присаживался на ступеньки и тихо напевал или дремал.

Приехав в Тель-Авив, он минут сорок шатался по улочкам старой автобусной станции, где хозяева лавочек – жестоковейные и милосердные восточные евреи – подкармливали его, одевали и издевались над ним. Они его орошали дезодорантом, омерзительно-парфюмерный запах которого Мустафа ненавидел. Он чихал от него и кашлял. Вероятно, это была аллергия.

– Вот, вот идет Машиах! – кричали они, смеясь. – Эй, Мустафа, подойди, я дам тебе питу.

И когда несчастный безумец опасливо приближался, робко и хищно выхватывая питу из руки мизраха,² тот успевал прыснуть на бродягу пахучей струей из баллончика. Мустафа визжал, плакал, кашлял и чихал. И убегал к огромному зданию новой автобусной станции, чтобы, незаметно проникнув в салон четырехста пятого автобуса, бегать по нему взад-вперед, вверх и вниз до самого Иерусалима...

...Автобус уже спустился с гор и катил распахнутой долиной Аялона. Солдатык рядом с Зямой беззащитно и самозабвенно спал, клоня голову на ее плечо. Его пухлые губы и во сне сложены были в непреклонную, упрямую гримасу. И девочка на бауле спала, опустив голову на скрещенные руки. Ветер из окна поддувал тончайшие спиральки волос на ее подростковой шее.

² Мизрах – презрительная кличка восточного еврея.

Их перебрасывают к Ливанской границе, вдруг поняла Зяма, связав утренние плохие новости, и этих ребят из бригады «Голани», и двух летчиков, которые сейчас сидели где-то на втором этаже. Мысленно она говорила уже не «Ливан», а как местные жители – «Леванон»...

...Автобус подъезжал к Тель-Авиву, вот уже показались на равнине контуры могучего холма – городской помойки, в просторечье – Тель-Хара. Переводилось это романтическое благозвучное имя как Холм Дерьма или, если так удобнее, – Дерьмовый Курган. Всякий день очертания его вершины менялись: то с одного боку насыплет мусоровоз горку, то с другого. То вздымался посередине гребень, то словно двугорбый верблюд остановился на равнине. Чайки дружными серебристыми стаями, издалека – под лучами солнца – похожие на блестящих рыбок в аквариуме, всегда носились над величественным Тель-Харой. По гребню его ползали грузовики-мусоровозы.

Иногда Зяма представляла, что если заснять на пленку изменения рельефа этой горы, а потом прокрутить пленку в страшном темпе, то Дерьмовый Курган шевелился бы, ворочался и волновался, как гигантское ископаемое на равнине...

Мустафа вскочил и побежал к лестнице на второй этаж – там будет греметь баночкой и, тревожно улыбаясь, всматриваться в окна. Что за мятущаяся тоска гнала его из города в город, с гор на побережье и с берега моря – в горы? В этом двойном вращении его тоски, одновременно – внутри автобуса и меж городами, – она усматривала сходство со своей тоской, мятущейся внутри страны и – вместе со всем народом – внутри Вселенной.

На спине водителя валялся мятый фланелевый капюшон. Зяма представила, как в дождь, выбегая из автобуса в диспетчерскую, он набрасывает его на голову – детский капюшон на этой полуседой курчавой голове марокканского быка. А на ногах у него должны быть старые кроссовки...

Вот что пугало ее: домашность всей этой страны и ее населения.

Все ее жители относились к стране, как к своей квартире, и так одевались, и так жили, не снимая домашних тапочек, и так передвигались по ней, и так ссорились, – незаметно, небрежно и смертно привязаны к домашним, – совершенно не вынося друг друга, и взрываюсь, когда чужой посмеет плохо отозваться о ком-то из родни... Они так и убегали из нее, как сбегают из дома – до конца дней не в силах окончательно вырвать его из себя.

Автобус вырулил на мост Ла Гардиа и остановился. Здесь всегда выходили солдаты. И ее мимолетный сосед, суровый горский мальчик, и девочка, всю дорогу проспавшая в немыслимой позе на своем вещмешке, и двое летчиков, и шустрые, наглые «Голани» – вытаскивали баулы из багажника.

Зяма смотрела в окно на русского. Ему очень шла форма летных частей, вообще он был крупный, хорошо сложенный, скованный и неяркий человек – среди этих черноглазых, развинченных в движениях, уроженцев Средиземноморского побережья.

Ну что ж, подумала она, мы ведь тоже повоевали за их землю. И ужаснулась – за чью, за «их»? Все смешалось, все перевернулось, Господи...

Наконец причалили к перрону шестого этажа новой автостанции. Водитель потянулся, заломив руки над головой, крикнул и стал ждать, когда пассажиры выйдут.

Мустафа уже выскользнул и пошел нырять в разбегающуюся по эскалаторам толпе.

Зяма вышла последней. Она всегда выходила последней и всегда говорила водителю «спасибо». Для нее это была примета, условие удачного дня, талисман.

Выходя, она скосила взгляд вниз, на его ноги. Да: старые кроссовки без шнурков... Нас всех когда-нибудь тут перебьют, в который раз подумала она в бессильной ярости, – в этой открытой всем ветрам трехкомнатной стране, в этих наших домашних тапочках...

2

Вот многие считают: рухнула империя, поэтому и повалили, покатались, посыпались из нее потроха – людское месиво.

Распространенное заблуждение – подмена следствием причины.

А может, для того и полетели подпорки у очередной великой империи, чтобы пригнать Божье стадо на этот клочок извечного его пастбища, согласно не сегодня – ох, не сегодня! – составленному плану? Еврейский Бог – не барабашка: читайте Пророков. Медленно и внимательно читайте Пророков...

С чем сравнить этот вал? С селевыми потоками, несущими гигантские валуны, смывающими пласты почвы с деревьями и домами?

Или с неким космическим взрывом, в результате которого, клубясь и булькая в кипящей плазме, зарождается новая Вселенная?

Или просто – неудержимо пошла порода, в которой и самородки попадались, да и немало?..

Как бы то ни было, все это обрушилось на небольшой, но крепкий клочок земли, грохнулось об него с невероятным шумом и треском; кто расшибся вдребезги, кого – рикошетом – отбросило за океан. Большинство же было таких, кто, почесывая ушибы и синяки, похныкал, потоптался, расселся потихоньку, огляделся... да и зажил себе, курилка...

* * *

ДЦРД – Духовный Центр Русской Диаспоры – посещали люди не только духовные. Завхоз Шура, к примеру, утверждал, что не было в Духовном Центре такой вещи, которую не сперли бы многократно.

Каждые три дня крали дверной крючок в туалете. Крючок. При этом оставляя на косяке железную скобу, на которую этот крючок накидывается.

Примерно раз в пять дней выкручивали лампочку над лестницей, ведущей на второй этаж. Это можно было осуществить только с риском для жизни, сильно перегнувшись через перила второго этажа, и чтобы кто-нибудь держал за ноги, иначе можно разбиться к лебедям.

(Тут необходимо добавить, что в супермаркете лампочка стоит два шекеля восемьдесят агорот...)

Существование бара в одном из закутков ДЦРД расцвету духовности тоже не способствовало. И хотя содержала его милая женщина с усталой, извиняющейся за все улыбкой – бывшая пианистка из Тбилиси и, дай Бог не соврать, чуть ли не лауреат какого-то конкурса, – именно ее земляки, с особой охотой посещавшие бар Духовного Центра, придавали этому заведению необратимо закусочно-грузинский оттенок. Среди всех выделялся некто Буйвол – чудовищной массой, волосатостью и грубостью. Он заказывал обычно лобио, хачапури и сациви, поглощая все это в неопрятном одиночестве, чавкая, сопя и закатывая глаза в пароксизме гастрономического наслаждения. Окликнет его кто-нибудь в шутку:

– Буйвол, ты что – похудел? Он испуганно воскликнет:

– Ты что, не дай Бог!

По средам вечером гуляли тут журналисты, коллектив ведущей русской газеты «Регион» – отмечали завершение и отправку в типографию очередного еженедельного выпуска. А были среди журналистов «Региона» люди блестящие – умницы, эрудиты, отчаянные пройдохи и храбрецы, в советском прошлом – все сплошь сидельцы: кто за права человека, кто за угон самолета, кто за свободу вероисповеданий.

Был в Духовном Центре и зал со сценой, добротный зал мест на четыреста, и косяком пер сюда гастролер, неудержимо, как рыба на нерест.

Известные, малоизвестные, не столь известные, а также знаменитые российские актеры и эстрадные певцы, барды, чтецы и мимы, оптом и в розницу, то сбиваясь в стаи, то оставляя подельников далеко позади, безусловно, поддерживали высокий накал духовности русской диаспоры.

Извоз российских гастролеров держали почему-то украинские евреи. Может быть, поэтому анонсы предстоящих гастролей, напечатанные в русских газетах, шибали в нос некоторой фамильярностью. Рекламные объявления обычно не редактировались, так что даже в культурном и грамотном «Регионе» можно было наткнуться на зазывы: «Такое вам еще не снилось!» Или: «Впервые в вашей жизни – в сопровождении канкана!»

Сценарий проката джентльменов в поисках десятки был всегда одинаков. Первым у приехавшей знаменитости брал интервью журналист газеты «Регион», известный местный культуролог Лева Бронштейн – безумно образованный молодой интеллект, знающий невероятное количество иностранных слов. Он выстраивал их в предложение затейливой цепочкой, словно крестиком узоры на пальцах вышивал.

Смысл фразы читатель терял уже где-то на третьем деепричастном обороте. Читая Бронштейна, человек пугался, расстраивался: был трагический случай, когда к концу пятого абзаца одной его статьи читатель забыл буквы русского алфавита.

Статьи Левы Бронштейна от начала до конца читали, кроме него, еще два человека: его подвижница-жена и профессор культурологии кафедры славистики Йельского университета Дитрих фон дер Люссе – тот был искренне уверен, что Лева пишет свои статьи на одном из восьми, известных профессору, иностранных языков.

Русская израильская интеллигенция страшно почитала культуролога Бронштейна, его имя вызывало священный трепет, и хотя дальше заголовка, как правило, никто продвинуться не мог, считалось некрасивым на это намекать. По сути дела Лева был божьим человеком, кое-кто даже полагал, что в свое время он будет взят живым на небо...

Приезжая знаменитость вещала в его интервью длинными сложными построениями о самых разнообразных материях: о трансцендентности начал, о детриболизированности сущностных величин, открывала горизонт специфически национального потребления, а следовательно, этнической метафизики, задавала основные параметры мыслеформы и под конец интервью восклицала что-нибудь эдакое, абсолютно загадочное, парализующее зрительный нерв рядового читателя: «Нет терроризма педантичней, чем этот, до костей обглоданный риторикой!»

Затем, засучив рукава, за приезжего певца (актера, барда, поэта, мима) брались журналисты остальных двенадцати русских газет.

Эти интервью читать было легко и привычно: как-то внезапно позабыв о высоких сферах и обглоданной риторике, знаменитость жаловалась на трудное российское житье, дороговизну рынка, возросшую преступность и духовное оскудение российского общества...

И наконец, обалдевшая от напора масс-медиа и потерявшая бдительность знаменитость попадала в лапы Фредди Затирухина – главного редактора, ответсекретаря, репортера, корректора, а также курьера, вышибалы и поломойки паршивой порнографической газетенки «Интрига».

Фредди овладевал знаменитостью обманом и чуть ли не силой: он являлся в отель выбритым и дезодорированным и, открыв роскошный дипломатический кейс, доставал оттуда дорогой японский диктофон...

Рекомендовался он, как правило, президентом. Это принято: президент компании такой-то. У него и на визитке было написано золотом: «Фредди Затирухин. Президент».

Так вот, наутро в свежем номере «Интриги» появлялось разухабистое, с обилием неприличных слов, безграмотных выражений и непристойных откровений интервью, где знаменитость делилась с читателем этого малопочтенного издания некоторыми подробностями своей личной жизни. Ребята из «Региона» божились, что в одном таком интервью девять раз встречалось слово «хули»...

За всем этим – имеется в виду и последующая разборка пьяной знаменитости с пьяным президентом Затирухиным в баре ДЦРД, и приезд наряда полиции с дальнейшим поручительством за всех и вся дирекции Духовного Центра, – за всем этим следовал триумфальный концерт во всем великолепии, во всей мощи духовного накала благодарной, алкающей культуры публики русского Израиля...

Единственным, что неизменно омрачало светлый праздник Искусства, – было стремление российской знаменитости сказать в микрофон нечто поучительное по национальному вопросу. Поразительно, до чего жгла и мучала арабо-израильская проблема всех приезжих гастролеров. Сначала им намекали – легонько, перед концертом – не стоит, мол, лезть в чужую синагогу со своим протухшим интернационализмом. Нет, не действовало! Обязательно скажет, да еще так задушевно, – а как же, мол, дорогие бывшие соотечественники, некрасиво получается у вас с арабским родственным народом?..

Ну, понятно, крепче уже стали предупреждать: не учи, сука, ученых и бывалых... Куда там! Уже всю чёсовую программу напоет-набормочет, уже весь цветами засыпан, глядь – под конец, под бурные аплодисменты – пук!!! Такие вот ослиные уши царя Мидаса; такое вот не могу молчать.

А самая знаменитая Знаменитость, та вообще развела полными руками да и лягнула от полноты сердца:

– Евреи и арабы! Да помиритеесь вы, черти! Чего не поделили-то?!

(Представители арабского народа в тот день – как и в остальные, впрочем, – в зале напрочь отсутствовали. Надо полагать, по причине вечернего намаза.)

А между тем не далее как утром ведущий русский экскурсовод Израиля Агриппа Соколов ударно проволоч Знаменитость сразу по трем маршрутам:

1. Храм Гроба Господня – величайшая святыня христиан;
2. Западная Стена Храма – величайшая святыня иудеев;
3. Мечеть Омара – величайшая святыня мусульман.

Если пояснить (для неместных), что все три святыни громоздятся чуть ли не друг на друге, можно было бы догадаться – что не поделили эти три великие конфессии: всего-навсего Бога.

Кстати, об экскурсиях. В подвальных помещениях Духовного Центра, в нескольких крошечных выгородках размещалось экскурсионное бюро «Тропой Завета». Основал и возглавил его великий Агриппа Соколов (в местных условиях ударение в этой хорошей русской фамилии валится почему-то на первый слог).

Но тут необходимо сделать небольшое – о, совсем мимолетное! – отступление.

Индустрия... экскурсоведения? экскурсовождения? – словом, технология замучивания зайца-туриста, медленного поджаривания его на хамсинном пекле в долинке Геенны Огненной – за годы Большой алии приобрела невероятный размах.

Турист на Святую землю шел разнообразный и отовсюду. Не говоря уже о рядовых гражданах России и ее бывших республик, о любознательной русской мафии, о бизнесменах всех сортов и мастей, о поддатых священниках в сопровождении небольшой веселой паствы, оголтелого русского туриста поставляли и Америка, и Канада, и Германия, и ЮАР, и даже Новая Зеландия, тоже сколотившая за последние пару лет русскую общину не хуже, чем у людей.

Все это туристское стадо, в зависимости от интересов и вероисповедания, надо было грамотно рассортировать и удовлетворить. Обслужить по высшему разряду.

В области религиозных чувств, как известно, требуется деликатность особого свойства. И тут сотрудники экскурсионного бюро «Тропой Завета» проявляли себя подлинными виртуозами своего дела. Скажем, ведете вы группу православных христиан из города Переяславля-Залесского. Смело объявляйте название экскурсии – «Тропой Нового Завета». Но упаси вас Бог маршрут, по которому вы повели стайку религиозных евреев из каменец-подольского общества «Возвращение к корням», назвать «Тропой Ветхого Завета».

В том-то и фокус.

Вот вам невдомек, а евреи свой Завет отнюдь не считают ветхим и непригодным к использованию. Наоборот – по их мнению, он отлично сохранился в течение всех этих хлопотных тысячелетий, а за последние лет пятьдесят так прямо засиял, как новенький, и подтверждает это на данном, нарезанном самим Всевышним дачном участке земли существование еврейского, вполне половозрелого государства... Словом, тончайшая, деликатнейшая материя, лезгинка на острие кинжала, балансирование с шестом на канате, фокус с удавом на шее, раздувающим кольца...

Легче и приятнее всего было вести группу, сколоченную из ядерного бывшесоветского среднетехнического атеиста. Эти не знали ничего, путали Иисуса Христа с Саваофом, деву Марию с Марией Магдалиной, задавали кромешные вопросы, крестились на Стену Плача и оставались довольны любыми ответами экскурсовода.

Стоит ли удивляться, что, завершив трудовую неделю и вешая в преддверии шабата³ увесистый замок на дверь конторы, ведущие экскурсоводы Иерусалима – охальники, насмешники, циники, – на традиционное субботнее приветствие «Шабат шалом!» ответствовали бодро:

«Воистину шалом!»...

3

Поднимаясь в лифте, она достала из сумки ключи от двери офиса.

Даже здесь, на стенке кабины лифта, было наклеено объявление миссионеров новой секты, распространителей загадочного продукта «Группен-кайф».

Все эти объявления-призывы носили истошный характер, словно призывали к насильственному захвату каких-то жизненно важных государственных ценностей. Правда, ни в одном из объявлений не уточнялось – каких именно, и это смущало и сбивало с толку: так, будто ночью тебя разбудили безумным воплем «горим!!!» – а где и кто горит, куда бежать, кого спасать – упорно не сообщают.

Почти все объявления начинались призывом: «До каких пор?!» Или: «Сколько можно?!» – а дальше уже все зависело от изобретательности и авантюрных наклонностей миссионеров-распространителей. Вот несколько образчиков таких объявлений.

«До каких пор хозяева будут издеваться над олим,⁴ наживаясь на нашем тяжком труде?! Всем, кому надоело хрючить на израильтян, мы предлагаем участие в новом перспективном бизнесе. Здоровье! Высокие заработки! Расслабление и хорошее настроение!!!»

«Сколько можно прозябать в нищете и унижаться?! Мы готовы указать вам путь к настоящему богатству! Вы будете иметь деньги и высокую потенцию, отличные успехи в бизнесе и чувство удовлетворения жизнью!»

³ Шабат – это суббота, святой день у иудеев.

⁴ Олим – новые репатрианты (букв. «поднявшиеся») (иврит).

Или просто: «Сколько можно?! К нам и только к нам! Перспективная фирма! Высокие заработки! Железное здоровье! Бездна свободного времени!!!»

Витя был уже на работе. Он стоял, навалившись круглым животом на световой стол и, старательно сопя, вырезал ножницами из журнала «Ле иша» непристойную карикатуру на премьер-министра. Увидев Зяму, он просиял всей своей лохматой физиономией старого барсука и проговорил нежно:

– Зямочка, какого хера ты приперлась ни свет ни заря?!

Их ждал обычный тяжелый день: тридцать две еженедельные газетные полосы, которые они делали вдвоем, плечом к плечу перед компьютером, вот уже пятый год...

Редакция их газеты (или, как оба они гордо говорили – «офис») обреталась в шестнадцатиметровой комнате, снятой на одной из самых грязных улочек, в самом дешевом районе южного Тель-Авива.

Это обшарпанное трехэтажное здание в стиле «бау-хауз», выстроенное в конце тридцатых, предназначалось для сдачи внаем всевозможным конторам, бюро, мастерским и мелким предприятиям, если, конечно, можно назвать предприятием престижный салон «Белые ноги», занимавший весь третий этаж.

(Кстати, отнюдь не все сотрудницы этого заведения могли предоставить клиенту обещанный в меню деликатес, а именно – белые ноги. Среди обслуживающего персонала трое были маленькие тайландки, глянцевого, как желтые целлулоидные куклы, две горластые, чернявые и горбоносые дщери то ли иранского, то ли марокканского происхождения, а также Света и Рита, славные девушки из Минска на сезонных заработках.)

На двери редакции висела табличка с текстом, набранным Витей на «Макинтоше» скромным, но респектабельным шрифтом «Мария»:

«ПОЛДЕНЬ» —

литературно-публицистический еженедельник.

Прием авторов по воскресеньям и средам.

Посторонних просим не беспокоить.

Посторонние беспокоили их гораздо чаще, чем авторы. Уж очень злчное это место – мусорные обветшалые улочки в районе старой автостанции. Забрехали к ним агенты по распространению неповторимых диет, нищие, дешевые бездомные проститутки, принимающие клиентов в подворотнях и за гаражами, одурелые свежие репатрианты, пришибленные всей этой, ни на что не похожей, жизнью, заблудившиеся клиенты престижного салона «Белые ноги», сумасшедшие с разнообразными маниями.

Несколько раз являлись Мессии.

Двое из них были в образе авторов и даже с рукописями в папках, а один – всклокоченный, с блуждающим темным взором, рванул дверь и рыдающим голосом спрашивал – не пробегала ли здесь молодая ослица, не знающая седла. И повторял жалобно: «Белая такая, беленькая, славная...»

Витя уверял, что если пристально смотреть сумасшедшим промеж глаз, чуть выше переносицы, то они сразу теряют энергетику и быстро уходят.

Были, были замки, была решетка от пола до потолка, отделяющая вход в коридор второго этажа от лестничной площадки с лифтом; вешался на нее громоздкий амбарный замок, с которым Витя мучался, как проклятый, каждое утро – отпирая и каждый вечер – запирая. Но днем-то решетка была отперта. Сновали туда-сюда служащие, клиенты, уборщики – на втором этаже размещались офисы пяти компаний.

А вот верстать газету Витя предпочитал ночью. Он вешал замок на решетку, запирали изнутри дверь редакции, раздевался до трусов и садился за компьютер. Под столом держал Витя тазик с водой – в нем он полоскал и нежил натруженные ноги, обутые в пляжные пла-

стиковые сандалики, купленные на рынке «Кармель» за пятнадцать шекелей. Витя трепетно относился к своим мозолям...

Стоял у них еще старенький холодильник «Саратов», приобретенный по случаю распродажи имущества одного разорившегося борделя, была и духовочка, подаренная соседом-болгарином, притащил Витя из дома ручную соковыжималку. Всю ночь светился дисплей роскошного нового «Мака» – гордости, капитала, главного достояния редакции, красавца последней модели... – словом, это были лучшие часы в Витиной жизни. Вот если б еще туалет не в коридоре, а под боком – это ль было бы не счастье при Витином-то застарелом геморрое!..

– ...Возьми в холодильнике апельсиновый сок, – сказал он не оборачиваясь. Он сидел перед компьютером на доске, положенной на стул, так ему было удобнее. – Я еще ночью выжал.

– Спасибо, милый...

Она достала из холодильника литровую банку, некогда из-под соленых огурцов – в нее Витя сливал выжатый сок. Зяма представила, как ночью – полуголый, в пляжных сандаликах, тряся толстыми волосатыми грудями, – он давит для нее апельсины на ручной соковыжималке. Какой он милый!

– Как ты себя чувствуешь? – спросила она, усаживаясь рядом с ним перед дисплеем.

– Не блестяще...

– Почему ты все-таки не обратишься в эту частную клинику? Они все время дают объявления, что излечивают геморрой без операции.

– А!.. – буркнул он, как обычно.

– Но показаться-то можно! – как обычно, раздражаясь, воскликнула она. – Тебе что – жалко показаться?

– Мне не жалко, – грустно ответил Витя. – Я готов показывать свою жопу каждому, кто готов в нее смотреть...

Витя был чудовищным хамом, хотя и нежнейшим, преданным человеком.

История начала их совместной работы в газете была настолько нелепа и удивительна, что до сих пор, почти пять лет спустя, они – нет-нет, да и поражались заново – как это получилось?

А получилось вот как: Зяма с семьей снимала тогда небольшую квартиру в Рамоте, одном из дорогих районов Иерусалима. Жила она в то время двойственной жизнью – утром убирала по найму квартиры состоятельных израильтян, а во второй половине дня ее часто приглашали участвовать в каких-то симпозиумах, «круглых столах» в университете и радиопередачах, которые вел авторитетный радиожурналист Сема Бампер.

В то время бурно обсуждался вопрос взаимодействия двух культур – русской и израильской. Причем представители русской культуры воспринимали данный вопрос чрезвычайно серьезно и говорили о взаимодействии с горячностью и преданностью необыкновенной, в отличие от израильтян, которые уже не раз что-то такое обсуждали и, подобно Синею Бороде, знали, что в потайной комнате взаимодействий уже заморены голодом несколько разных культур.

Зяма тогда начала догадываться не только о существовании подобного тайного склепа – она поняла, что в нем хватит места для новых и новых жен Синею Бороды. В то время истеблишмент еще заигрывал с «русской» интеллигенцией, еще трепал ее по щечке, хотя запуганная телефонными и муниципальными счетами интеллигенция уже всю шуровала шваброй, где только могла. И Зяма шуровала. Муж ее еще не сдал непереносимый экзамен на разрешение работать врачом. Они не то что голодали, нет, конечно, но – боялись голодать.

Вот в эти-то дни в их съемной квартире раздался телефонный звонок.

Незнакомый голос, одновременно грубоватый и неуверенный, осведомился – не она ли выступала вчера в радиопередаче на темы культуры? Услышав, что – да-да, она, неизвестный спросил:

– Вы какую консерваторию кончали? – Надеюсь, что речь идет о каком-то заработке музыкального рода, Зяма подробно и подобострастно поведала свою рабочую биографию. В трубке вздохнули.

– А я – скрипач, три курса Вильнюсской консерватории. Потом бросил и много лет работал настройщиком фортепиано. Вы не представляете, как мне страшно...

И, запинаясь в тех местах рассказа, где, по-видимому, ему хотелось выругаться, неизвестный рассказал некую идиотскую историю, которая с ним приключилась... Он настройщик, как уже было сказано выше, причем настройщик хороший. Приехав, дал объявление в газету «Новости страны» и – не фонтан, конечно, – но кое-какой заработок имеется. Вот так на днях звонят по объявлению и предлагают настроить и отремонтировать старый «Блютнер»... Он приходит, проверяет инструмент, вынимает механику и начинает работать. А хозяин – верткий старикашка, польский еврей – тридцать лет как из Варшавы – вьется вокруг и затевает всякие разговоры. Ну, вы знаете их штучки: «сколько времени ты в Стране» да «как тебе в Израиле живется» – и прочая (тут голос запнулся)...

– Херня, – подсказала Зяма.

– Да! – обрадовался он. – Меня, кстати, Витей зовут.

– А меня – Зямой, – сказала Зяма. – Очень приятно.

Дальше, продолжал Витя, разговор с хозяином рояля повернулся самым удивительным образом. – Я, конечно, дал волю языку и сказал все, что думаю об этом обществе и об этом государстве... Знаете, я ведь приехал сюда обалделым сионистом... «Если забуду тебя, Иерусалим!..» Впрочем, это неважно. Говорю вам – это был припадок красноречия у волка, которому прищемили капканом яйца... А этот старикан... между прочим, он балакает по-русски. Конечно, ублюдочный русский, но... Ах, говорит, как красиво вы говорите, – они же эпитет «красивый», как чукчи, употребляют во всех смыслах: «красивый обед», «красивая книга»... – Да, говорит, как красиво говорите, и как убедительно! И о культуре – верно, верно, многое очень верно... Кстати, о культуре. Я, говорит, главный редактор газеты «Новости страны», Залман Штыкерголд, будем знакомы... В настоящее время, говорит, назрела необходимость в издании литературно-публицистического приложения к нашей газете. Это будет первое в истории русской прессы Израиля пятничное приложение. Вы ведь пишете? – спрашивает. И с такой радостной надеждой на меня смотрит. И я, дурак, сказал, что пишу. Более того – что работал в газете.

– Зачем? – спросила Зяма.

Витя замаялся... Понимаете, объяснил он, вообще-то я и вправду пишу немного, и печатался в «Вечернем Вильнюсе», и... публиковал музыкальные рецензии... Дело не в этом... В общем, можете себе представить, хотя это, конечно, трудно вообразить... впрочем, это вполне в духе всей здешней жизни – чтобы главный редактор газеты думал не головой, а (тут он опять запнулся)...

– ...жопой, – подсказала Зяма.

– Да! – воскликнул Витя благодарно. – Словом, можете вообразить: мар Штыкерголд предложил мне делать литературное приложение к своей газете.

– Как же это? – удивилась Зяма. – Как вы намерены это делать?

– Вот, – сказал Витя расстроено, – в том-то и дело. Я же сказал вам, что мне страшно...

Он дает некий бюджет (скупердяй чудовищный! ну, вы знаете этих паршивых «поляков», хуже которых только «румыны») – тысяч двадцать – двадцать две в месяц. На эти деньги я должен содержать помещение, купить оборудование, платить гонорары, нанять еще одного

сотрудника, потому что один не справлюсь. Пока он хочет шестнадцать полос, а потом будет тридцать две.

– Обдираловка, – сказала Зяма.

– Конечно! А кто, кроме меня, согласился бы на это? Я вас послушал в передаче, вы так здорово, мне кажется, все расставили по местам, всем надавали по морде. Правильно: хватит перед ними заискивать. Абсолютная духовная независимость – вот залог сохранения нашей культуры... Дай, думаю, позвоню – может, вы когда-нибудь занимались газетой?

– Да нет, – вздохнула она, – я музыковед. Составляла и редактировала несколько сборников статей... Но ведь газета – это нечто противоположное.

– Умоляю! – торопливо проговорил Витя. – Не бросайте меня! Я очень боюсь. Я нанимаю вас на должность редактора.

– У меня, знаете ли, был дед, – сказала Зяма, – который говорил в таких случаях: «Не ищи себе сраку на драку». Хотя сам-то всю жизнь искал. И находил.

– Но я же мечтал об этом всю жизнь! – воскликнул он. – И признайтесь, неужели вам не хочется попробовать? А вдруг мы сможем делать настоящую, хорошую литературную газету?.. Только не говорите – нет! Две тысячи в месяц вас устроят?

– Еще бы! – сказала Зяма.

* * *

В первые месяцы, когда они и сами еще не верили, что делают настоящую газету, Витя продолжал иногда настраивать инструменты. Официально давать объявления в своей газете, которую они назвали «Полдень», он права не имел, это было одним из идиотских условий Штыкгерголда. Поэтому объявления о настройке фортепиано они камуфлировали в передовых статьях, которые Штыкгерголд обычно не мог осилить. Делалось это так:

«С наступлением эры детанта и попыток Запада откупиться от красной угрозы путем уступок, террор палестинцев, обучаемых в Болгарии, ГДР и СССР, стали называть актами национально-освободительной борьбы. Так насаждается сумятица в головах обывателей и сумбур в мыслях журналистов.

И все это в то время, как опытный настройщик фортепиано – стоит вам лишь позвонить по номеру 6832853, – с удовольствием и сравнительно недорого отрегулирует и отремонтирует механику вашего инструмента».

Или:

«Раскопки продолжаются, предполагается очистить от обломков и исследовать гробницы пятидесяти сыновей самого известного из фараонов – Рамзеса Второго. Надо полагать, с особым интересом за этими работами будут следить израильтяне. Ведь Рамзес Второй – тот самый „Паро“, с которым вел беспощадную борьбу наш Учитель Моисей и которого евреи называют ничтожным, а мусульмане – Рамзесом Великим. Разгадка – в будущем. Ну а пока: опытный настройщик с удовольствием ответит вам по телефону 6832853 и произведет регулировку и ремонт механики вашего фортепиано».

Кому надо было, тот звонил. На случай, если ущучит что-либо старая сволочь Штыкгерголд, всегда можно было свалить на ошибку наборщицы.

* * *

– Ну-с? – спросил привычно Витя. – Кугель? С Кугеля, как правило, начинали работу над очередным номером газеты, с утречка, пока свежи еще силы. Кугеля надо было переписывать от начала до конца, с заглавия статьи до многозначительного многоточия, которым тот усеивал последний абзац. На редактуру политической статьи Кугеля они ухлопывали

часа три, потому что ежеминутно необходимо было заглядывать в справочники, словари и энциклопедии.

Кугель путал даты, ошибаясь на годы и даже десятилетия. Он путал географические названия, имена и должности государственных деятелей, к тому же нетвердо помнил – кто из них жив, а кто уже перекинулся.

Он знал шесть иностранных языков, и все плохо. Он изобретал новые идиотские факты; брал с потолка цитаты; создавал научные теории, от которых хватил бы удар любого десятиклассника; ссылаясь на законы, не существующие в юридической практике государства; приводил цифры экономических показателей, за которые следовало упечь его за решетку.

Он умудрялся печататься во всех русских изданиях, кроме ведущей газеты «Регион», куда и сам не совался.

В «Средиземноморское обозрение» давал короткие заметки на культурные темы под псевдонимом А. Герцен. В «Ближневосточье» однообразно высказывался на темы моральные, ругая аппетиты новых репатриантов и противопоставляя им страдания и самоотверженность прошлых волн Алии. Здесь он выступал под псевдонимом Шимон Бар-Иохай.

Сшибал копеечные гонорары по разным плевым изданиям, но особо активно сотрудничал с газетенкой «Интрига», где печатал бесконечные эротические романы под псевдонимом Князь Серебряный. (Зяма, если в руки ей случайно попадал номер «Интриги», плевалась и обзывала Кугеля «отцом сексуального сионизма».)

От его риторики тошнило.

От его патриотизма можно было стать завзятым антисемитом.

Надо ли было гнать Рудольфа Кугеля в шею?

Ни в коем случае.

Во-первых, он жил в Стране тридцать пять лет и помнил все политические скандалы, причины падения правительств и отставок государственных деятелей. Знал пикантные детали закулисных интриг в кнессете, где постоянно ошивался. Следил за прессой и телевидением на шести языках и обладал изумительным нюхом на жареное – еще до того, как первый язык скандала лизнет бок освежеванного политического барашка. Писал статьи он за считанные минуты, в порыве чистого вдохновения, и в воскресенье – а здесь оно называлось День Первый и было началом рабочей недели, – дискета с набором свежей статьи на тему самого актуального события уже лежала в редакции. Были случаи, когда неторопливый литературный «Полдень» давал острую политическую статью еще до того, как собирал, анализировал и подготавливал материал к очередному своему глубокому и всестороннему обзору событий ведущий политолог «Региона» Перец Кравец.

Словом, Кугель был решительно незаменим. Но главное не это. Переписывая очередную статью Кугеля, матерясь и изнывая, ругая автора старым мудилой, оба они просто-напросто любили старика. Конечно, не за то, что пятнадцатилетним парнишкой Кугель был отправлен в Дахау, и не за то, что своим зычным голосом он охотно объяснял Вите и Зяме, как нужно укладывать трупы перед отправкой в печь: по двое, и двое поперек, и снова двое, – штабелями, как поленницу... Об этом он только рассказывал, макая печенье в чашку с горячим чаем (Витя с Зямой всегда угощали авторов чаем или кофе), – но никогда не писал. Эта тема была единственной, коей не касалось его вездесущее перо.

Так что они его просто любили.

Так что ни о каком «в шею» не могло быть и речи.

Так что нужно было только тщательно переписывать полемические излияния старика – от заглавия до последнего абзаца.

В «Полдне» он печатался под псевдонимом Себастьян Закс...

– ...Ну?..

Когда они переписывали Кугеля, Зяма то и дело вскакивала и бегала по комнате. Витя набирал. Время от времени он предлагал свою версию той или иной фразы, тогда она думала и говорила: «Не годится!» или: «Умница!», и он энергично шлепал по клавиатуре.

– Ну во-первых, как всегда, у старого идиота – отличный заголовок, – сказал Витя, – «Ложь, сладкая, как чесотка».

– М-м... О чем он там сегодня наваял?

– Ты ж знаешь – что вижу, о том пою. Нарушение правительством предвыборных обещаний, дискриминация новых репатриантов, скандал с биржевыми махинациями, мирный процесс...

– А! Ну, так и пиши – «Аспекты нового гуманизма».

Витя бодро, как щегол, защелкал по клавиатуре. Работа закипела, и уже часа через два оба они, взмыленные, как два битюга, подбирались к последнему абзацу, который выглядел следующим образом:

«Журналисты с неприкрытой жаждой крови ждали пикантностей из зала суда. В это же время над свежей могилой горевал главнокомандующий и раздался залп почета. Привилегированные персоны, вкушающие министерские оклады, играют в руку премьер-министру.

Но мало Фемиды с ее завязанными глазами! Дамоклов меч более чем подозрений навис над любителями биржи. Народ еврейский не дурак! Грядет народное разоблачение, и нас уже не заморочить внутривластной грызней: это борьба старого закостенелого иконостаса с молодой порослью из той же социал-сионистской голубятни!»

Несколько мгновений они сидели, уставясь в экран компьютера, соображая – каким образом перелицевать эту ветошь, пытаюсь выловить хоть обломок мысли из этих сточных вод.

– Тяжелый случай, – наконец сказала Зяма. Они съели по яблоку, помолчали.

– А не выкинуть ли вообще на хрен этот абзац? – доверчиво спросил Витя.

– Умница!

Абзац с облегчением выкинули. Теперь необходим был заключительный аккорд для этой хлесткой, полемической, во многом разоблачительной статьи.

Зяма предложила «рыбу». Написали. Переделали. Добавили. Ужесточили. Хрястнули по левым. Еще хрястнули. Лягнули правительство – ему уже не больно...

Съели по второму яблоку и торжественно вслух перечитали концовку:

– «Историческая Партия Труда, многократно менявшая свои названия, была и остается партией большевистского типа, – читала Зяма не без удовлетворения. – Недаром политическим кумиром Бен-Гуриона был Ленин (хотя по многим вопросам Бен-Гурион занимал позицию, отличную от Ильича). Главное, что заимствовал Бен-Гурион у Ленина, – это учение об удержании власти. Почему коммунисты потеряли власть в СССР? Почему они фактически декоммунизировались в Китае? И наконец, почему они до сих пор правят в Израиле?

Потому что здесь они сумели мимикрировать. Израильская разновидность коммунизма сумела осуществить мутацию единственно правильным путем – отказ от прямого насилия, выборы, якобы многопартийность. Затянутый ими „мирный процесс“ не имеет ничего общего с миром, его цель – уничтожить политических противников Партии Труда, снести поселения, превратить десятки тысяч граждан в новых люмпенов, скомпрометировать их, вывести за пределы национального консенсуса. Так удерживают власть в своих мозолистых руках биржевики от коммунизма».

– Во дает Себастьян Закс! – воскликнул явно довольный собой Витя и азартно поскреб в серо-седой бороде.

После статьи Кугеля, как всегда, пообедали. Витя побежал на угол за шуармой, а Зяма пока вымыла и нарезала помидоры и огурцы и поставила тарелки. Это был их любимый

час, на это время они даже дверь запирали. Обжора Витя приговаривал, поворачивая ключ в замке:

– Явится еще, не приведи Бог, Машиах – куска проглотить не даст...

Они уселись за письменный стол друг напротив друга, высыпали из кульков на тарелки кусочки жареной индюшатины, и Витя вдруг, как фокусник, достал и открыл банку пива.

– Ух ты! – обрадовалась Зяма. Она любила пиво.

– Гуляй, рванина, – сказал Витя. – Тетке пенсия пришла...

Первые дни она брезговала этим, вечно лохматым, хамоватым толстяком с крошками в бороде. К тому же Витя оказался не только ярим безбожником, но и страшным богохульником. Зяма же – так сложились обстоятельства – разделяла молочное и мясное.

Когда – месяца через два – она поняла, что, пожалуй, может с ним работать и, пожалуй, привыкнет к нему, она принесла из дома кое-какую посуду и сказала:

– Вот этот нож, с белой рукояткой, будет у нас молочным. Вот этот, с красной – мясным.

– Зяма, а не пошла бы ты! – от души удивился Витя.

Но она, подняв над головой оба ножа, повторила терпеливо и ровно, как учат умственно отсталых детей различать цвета на картинках:

– Белый – молочный, красный – мясной.

...Зяма двумя пальцами придвинула к себе свежий номер «Интриги», прихваченный Витей на углу: там всегда печаталось продолжение очередного эротического романа Князя Серебряного...

– Слушай, его абсолютно не правят, – пробормотала она, пробегая глазами по строчкам, – «...огромная белая грудь вывалилась из ее прозрачного пеньюара, – прочитала она брезгливым тоном, – я в жизни не видал такой груди!..»

– Он не видал, – продолжала она, раздражаясь, – в Дахау он такой груди не видал. В Дахау у женщин грудь сходила на нет... Интересно, а как относится к его художествам Ципи?

Жена Кугеля Ципи была женщиной строгой и тихой, хранительницей семейного очага.

– Ругается, – сказал Витя. Он с Кугелем знаком был давно, лет восемь. – Ругается, но как-то бессильно. Вот как подумаешь – зачем он балуется? Ведь ему, поди, уже и трахаться неинтересно.

– Ну как ты не понимаешь, – задумчиво проговорила Зяма, – он выжил. Его не уложили поперек чьих-то ног, и на него никого не положили, и не отправили в печь... Он выжил. И вот уже пятьдесят лет он кайфует. Просто радуется жизни. В частности, и таким образом...

После обеда, как обычно, их ждало еще одно удовольствие – полемическая статья Рона Каца на тему потерянных колен Израилевых.

Вот уже месяц этот безумный молодой ученый отбивался от журналиста газеты «Регион», историка Мишки Цукеса, вцепившегося в Рона Каца радостной бульдожьей хваткой.

Дело в том, что раз в несколько недель Рон Кац выдвигал новую научную теорию в области историко-этнических изысканий. Рон, безусловно, был сумасшедшим. Так считала Зяма. Но его статьи придавали газете известную пикантность, они вызывали ярость неподготовленного читателя, действовали на него как нервно-паралитический газ и носили – попеременно – то антисемитский, то русофобский характер. Поэтому статьи Рона они давали под знаком вопроса и мелким шрифтом приписывали внизу, что мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

Двадцатисемилетний Рон Кац был гением.

Он получал гранты от пяти университетов мира. В частности, от Берлинского университета имени Гумбольдта – для работы над книгой, в которой убедительно доказывал интеллектуальную неполноценность арийской расы. Время от времени его приглашали на оче-

редной престижный конгресс, и он читал доклад, написанный им на языке той страны, где конгресс проходил. Иногда из щегольства он прибегал даже к тому или иному диалекту.

Он знал тридцать два языка. В том числе, например, амхарский – язык эфиопских евреев. Он мог свободно с ними беседовать, после чего публиковал в «Полдне» развернутую, абсолютно скандальную статью об особенностях жизни эфиопской общины Израиля. Причем заканчивал ее предупредительным залпом: «Надеюсь, ни у кого не повернется язык обвинить в расизме человека, взявшего на себя труд выучить язык эфиопских евреев?!» При этом мало кто мог себе представить, что учил он этот язык дня три. Ну пять...

Он знал все диалекты арабского, мог по нескольким фразам отличить сирийского араба от иорданского, читал арабские газеты, выходящие в Восточном Иерусалиме, и время от времени радовал мирного читателя «Полдня» выжимками из этих газет, истекающих ненавистью к «сионистскому образованию» – арабы, как известно, избегают называть имя еврейского государства.

Он знал язык с неприличным названием «мандейский». «А кто на нем говорит?» – спросила его однажды Зяма, и Рон ответил кратко: «Мандеи», – после чего Зяма уже не задавала вопросов.

Время от времени Рон звонил к ней домой – посоветоваться о теме очередной статьи и вообще поболтать; обычно это случалось, когда Рону не спалось, часов в пять утра. Правда, он всегда при этом интересовался, не побеспокоил ли. До известной степени – при полном отсутствии общепринятых навыков поведения – Рон был довольно деликатным человеком.

– Я вот о чем подумал, – бодро говорил он, разбудив Зяму в пять часов двадцать минут утра. —

Неплохо бы дать статью о том, что заговор сионских мудрецов существует в действительности.

– Рон, вы что – спятили?! – испуганно спрашивала Зяма, на шаривая кнопку ночника.

– Я берусь это доказать! – радостно выпаливал он. – Впрочем, не хотите, не надо. Можно и о другом. Я, например, располагаю доказательствами того, что абсолютно все русские государи были членами масонской ложи и тайно исповедовали иудаизм.

– Рон, подите на фиг...

– Как хотите... По крайней мере надеюсь, вы не струсите дать наконец исчерпывающую статью о том, что евреи расселялись по территории нынешней России гораздо раньше так называемого русского народа и говорили на одном из четырнадцати славянских языков до того, как на нем стали говорить славяне!

– Ну хорошо, – измученно соглашалась Зяма, – только, Рон, прошу вас – аргументированно!

Если еще добавить, что свои статьи Рон Кац почему-то подписывал псевдонимом Халил Фахрутдинов, можно себе представить, каким улюлюканьем встречали историки и журналисты «Региона» каждый его выход на страницы прессы, сколько писем приходило в редакцию газеты «Полдень» от негодующих читателей и сколько шишек валилось на головы Зямы и Вити от главного редактора их газеты-мамы, господина Залмана Штыкгерголда.

– ...Ну вот, пожалуйста, – обескураженно проговорила Зяма, когда файл со статьей Каца открылся на экране компьютера, – «Киргизы – потерянное колено Израилево».

– Как! Ведь в прошлый раз он доказывал, что японцы – потерянные колена.

– Ну, видишь, он пишет – евреи прошли через Тянь-Шань, смешались с киргизскими племенами и вышли на территорию Японии... Представляешь, как сейчас на нас навалится Мишка Цукес!

– Пусть попробует! Мишке-то крыть нечем, он не знает древнекиргизского.

– Зато он историю знает.

– Но Кац же цитирует древнекиргизские «Хроники»: «И пришел на берег великого Иссык-Куля Иегуда с женами и рабынями, с множеством овец, и принес на берегу жертву Богу Ягве...»

– Да разве тогда киргизы были? – засомневалась Зяма.

– Что ж, «Хроники» были, а киргизов не было?

– Ну ладно, – сдалась Зяма. – Только, Бога ради, ставь знак вопроса и эту приписку насчет «мнения не совпадают» дай более крупным шрифтом...

Часам к семи вечера наконец покончили с текстами. Сейчас Витя отвезет ее на своем апельсиновом «жигуле» к новой автостанции и вернется в редакцию – верстать всю ночь. Назавтра готовые полосы должны лежать на столе у господина Штыкгерголда.

– Ох, совсем забыл! Тебя разыскивает очередная старая перечница, – сказал Витя, переобувая пляжные сандалики на туфли. – Кажется, опять по поводу деда. Включи автоответчик...

Сердце у Зямы заволновалось в торжественном предчувствии.

Время от времени ее отыскивали старухи, еще живые дедовы пассии.

Они натыкались на ее фамилию, набранную мелким шрифтом внизу, на первой полосе газеты – редактор Зиновия такая-то.

Звонили; страшно волнуясь, осторожно допытывались – имеет ли она отношение к Зиновии Соломоновичу такому-то. Ах, внучка?! Что вы говорите! Так бы хотелось взглянуть на вас одним глазком...

Она назначала встречу в кафе «На высотах Синая», угощала «угой». Любопытно, что все старухи, не зная иврита, пирог тем не менее называли «угой». Вероятно, это слово в их склеротическом воображении ассоциировалось с русским словом «угощение».

Каждая рассказывала о деде что-нибудь новенькое, лихое, сногшибательное, часто – малопрстойное, а порой и ни в какие ворота не прущее... Слушая их, Зяма испытывала прямо-таки наслаждение, счастье, восторг.

Она включила автоответчик. После сигнала несколько мгновений покашливали, прочистили горло, вероятно, сплюнули в салфеточку и наконец, увязая языком во вставных челюстях, старческий голос аккуратно и торжественно произнес:

– Уважаемая госпожа редактор! Интересуюсь – или вы имеете отношение к Зиновии Соломоновичу, одной с вами фамилии. Если у вас будет желание поговорить с его старинной знакомой, то позвоните мне...

Дважды твердо диктует номер...

Ах ты, милая моя! «Уважаемая госпожа редактор!» Наверняка написала сначала на бумажке, тренировалась, выучила, зубы мешают...

Итак, очередная возлюбленная деда Зямы. Сколько ж тебе лет, возлюбленная? Ведь деду было бы... стоп! Деду, шутки шутками, было бы девяносто пять... Впрочем, он всегда любил юных. Код иерусалимский, значит – «На высотах Синая»...

Зяма набрала продиктованный старухой номер, и та сразу взяла трубку.

Да-да, она имеет отношение к Зиновии Соломоновичу, она его единственная внучка. (Хотела сказать «законная», но сдержалась.) Конечно, что ж мы по телефону-то! Рада буду встретиться с вами. Например, в кафе. Да вы знаете, это в центре, – «На высотах Синая». Отлично... отлично... Ат-лич-на!.. Значит, завтра, в пять... А я – шатенка. Да вы меня опознаете: я очень похожа на деда...

– ...Ну и ходок был твой дедуля! – заметил Витя, заводя машину.

– Да! – с гордостью ответила Зяма. – Он не пропускал ни одной стоящей юбки!

Они медленно ехали по улицам Южного Тель-Авива. Всюду копали, меняли коммуникации, приходилось объезжать. Иногда минуты на три застревали в пробках.

На углу улицы Негев они медленно проехали мимо двух пожилых обрюзгших проституток с разрушенными лицами.

– Ветераны большого минета, – уважительно заметил Витя.

Подкатив к автостанции с улицы Левински – ко входу на четвертый этаж этого гигантского сооружения, – он сказал привычно:

– Как подумаю – на какие рога ты едешь, живот сводит... Когда уже ты купишь нормальную квартиру в нормальном месте?

– Никогда, – привычно ответила она, выбираясь из машины, – мне там нравится.

Она лгала. Ей совсем не нравилось то, как она живет последние четыре года...

4

«...Обнаженная писательница N. лежала в горячих струях воздуха, которые гнал на нее большой вентилятор...»

Омерзительно...

«Обнаженная писательница N. лежала под горячей струей воздуха от вращающегося вентилятора...»

Того хуже...

«Обнаженная писательница N...»

Да ну ее к черту – обнаженную! «Голая писательница N. лежала под вентилятором». Вот и все.

Так что голая писательница, и надо сказать – известная писательница, действительно лежала под вентилятором, который с японской вежливостью крутился, кланялся, усердствовал в максимальном режиме, но в этот чудовищный хамсин не спасал ни на копейку. (А влетит в копеечку, вяло подумала она, мало не покажется. Навязчивые мысли о счетах за все муниципальные блага этой паршивой цивилизации, приходящих с регулярностью месячных, в последнее время изрядно отравляли ее жизнь.)

Детей, слава Богу, дома не было. Старший сын, солдат, к облегчению всей семьи, был заперт на военной базе, где несчастные инструктора пытались обучить его вождению армейских грузовиков. Младший, первоклассник, – в школе. Не Бог вещь что за Царскосельский лицей, но забирают тщедушное сокровище от подъезда и возвращают к пяти в полной сохранности. Это ли не счастье...

По поводу счастья: надо бы спросить у Доктора, что стоит попить, когда жить не очень хочется. Пусть пропишет какой-нибудь «вабен» – говорят, успокаивает и мягко действует, без побочных эффектов, вроде чувства ватного обалдения во всех членах. Н-да-с, а затем на террасе у Сашки Рабиновича, попивая сухого и щелкая орешки в тесном кругу приятных людей, Доктор скажет, ласково жмурясь:

– А вот у меня была пациентка... – и, водрузив загорелые ноги на ближайший пластиковый стул, перескажет – конечно же, в третьем лице и без имени собственного, он человек порядочный, – все ее излияния. Благодарю покорно...

Ведущий специалист по излечению депрессивных синдромов, Доктор, говорят, составил некую анкетку, вопросов сорок, не больше, – кроткие такие вопросы по части «не желаете ли повеситься?», и подсовывает ее для чистосердечных признаний близживущему люду. Потом систематизирует ответы и пишет докторат на тему «Большая алия и суицидальный синдром». Или как-нибудь по-другому. Что ж, Бог в помощь, материал вокруг богатый, каждый уж каким-нибудь комплексом да щегольнет.

Взять, к примеру, Севу. Необыкновенно удачливый бизнесмен, Сева расцвел свою жизнь своеобразным занятием – периодически он кончает жизнь самоубийством. Неудачно. Не везет человеку: прыгнул с четвертого этажа – сломал ногу и ключицу, повесился – его

вынули из петли. Уже на памяти писательницы N. он стрелялся. Пуля прошла в сантиметре от сердца, пробила легкие... Вылечили. В годы Большой алии затеял большой бизнес с Россией, невероятно преуспел, в связи с чем покончил жизнь самоубийством. Но опять неудачно: открыл газ и уже стал успешно угорать, как в колонке этот самый газ и кончился. Похоже, на небесах не горят желанием встретиться с этим идиотом.

Сейчас он процветает. Живет там – здесь – там. Часто наезжает прикупить еще какой-нибудь автомобиль, или квартирку, или ломтик промзоны где-нибудь на территориях, для строительства небольшого заводика. Свечного. Нет, кроме шуток, – свечного. Возжигание субботних свечей – не последнее дело на этой земле. Но никак, бедняга, не может выкарабкаться из депрессий. Поздравишь его с покупкой виллы, а он отвечает злорадно:

– Все равно все сдохнем!

Конечно сдохнем, дорогой. Но к чему полномочия-то превышать? К чему суетиться, начальству дорогу забегать, в глаза ему заглядывать? Когда о нас вспомнят, тогда на доклад-то и вызовут. И вломят, можешь не сомневаться, ох как вломят...

Так что – нет, дорогие друзья и благодарные читатели, – никаких анкеток. Я совершенно нормальна, спокойна и хорошо воспитана.

На пороге появился муж и, увидев изможденную жарой голую супругу, изобразил на лице оторопь человека, открывшего служебную дверь и за нею заставшего... – Вах! Какой сюрприз!

В нем погибает неплохой комедийный актер. Какой там «вах!» – и он еле ползает от жары. Да еще на ногах, бедняга, целый день, за мольбертом.

И это чугунное оцепенение тела, вязкость мыслей и полное отсутствие каких-либо желаний он называет жизнью на Святой земле.

Ну, положим, этот банный кошмар длится не 365 дней в году. А зимний многодневный проливень – не хотите ли, – под которым протекают все без исключения крыши всех строений – от паршивого курятника где-нибудь на задворках Петах-Тиквы до небоскреба отеля «Холлидей ин». Выскакиваешь из подъезда, заворачиваешь за угол, вбегаешь под стеклянный навес остановки – и ты уже насквозь пропитан холодной тяжелой водой, вымочен, как белье в тазу. Тропическая лавина, водопад, под которым смешна и бесполезна обычная осенняя одежда – эти жалкие плащи, дождевые куртки с капюшонами, резиновые сапоги... И хочется либо залезть в скафандр водолаза, либо уж раздеться догола и слиться с водами мирового потопа от неба до земли... Недаром это слово в древнееврейском существует только во множественном числе – воды, воды... «Объяли меня воды до души моей...»

Но и дождь, и душу вышибающий ветер, выламывающий ребра зонтов, выдувающий тепло даже изо рта и слезящихся глаз, вспоминаются сейчас как спасение...

Голая писательница N. тяжело поднялась, села, пережидая, пока пройдет головокружение и колотьба в левом виске, возникшие от перемены положения тела, наконец поднялась и на ватных ногах потащила под душ.

Ну что это, ну как этот ад называется на человеческом языке – перепады давления? магнитные бури? сужение сосудов? приближение смерти? старость, наконец? дряблая рыхлая старость в сорок лет – Господи, когда начнется похолодание! Черт с ней – старостью и смертью, смерть по крайней мере избавит от этого натирающего горб ярма – ежеутреннего, едва сознание нащупывает тропинки в пробуждающемся мозгу, почти мышечного уже сигнала: работать. Встать, принять душ, вылакать свой кофе и сесть за работу – инстинкт, условный рефлекс, привычка цирковой лошади, бегающей по кругу под шелканье бича... Хорошие стихи попались когда-то в юности в куцей книжице молоденькой (забыла, конечно, имя) поэтессы: «А мы сидим в затылочек друг другу, И не понятно – что это такое... А эта лошадь бегаёт по кругу. Покинув состояние покоя...»

Голая писательница N. печаталась давно, с пятнадцати лет, так сложились обстоятельства. Кстати, для своей первой полудетской публикации в популярном (и тиражном – о, никому из нынешних издателей и не снился размах бывшего советского Вавилона – трехмиллионный тираж!) московском журнале она прислала свою пляжную фотографию: подросток, костлявая дурочка – полоска лифчика, полоска трусов, размер сатинового купальника, помнится, тридцать шестой, «детскомировский». Разумеется, на фотографии она отрезала и в журнал прислала только голову с плечами, якобы вырез такой у сарафана...

К ее изумлению, рассказик был напечатан в пристойном школьном воротничке. То есть к ее детской шейке пририсовали школьный воротничок. Так что голая писательница N. с отрочества узнала некую истину: голых писателей не бывает. Живых, по крайней мере. Их заголяют после смерти, вытряхивая из фиговых листочков писем и дневников. (Истериичные эксгибиционисты, трясущие перед читателем неопрятными гениталиями, конечно, в счет не идут, оставим творческие оргии содомян ведомству наивысшей инстанции.)

А хрен вам, подумала она, стоя под вялым душем и тяжело поворачиваясь, ни единого интимного письма, ни записочки вы от меня не унаследуете...

Дневников она не писала даже в доверчивой эгоцентричной юности. Что за разговоры с собой? Что за договоры с самим собой, что за условия самому себе, что за бред? Нормальный человек сам с собой не беседует...

Она была абсолютно нормальным человеком... В общепринятом смысле, конечно. Как говорит Доктор – ну что вы заладили, батенька, – сумасшедший он, сумасшедший... Может, он и сумасшедший, но ведь мыла-то не ест?.. Мыла она не ела. Но втайне за любым писателем, и за собой в том числе, оставляла право на некоторые – не извращения, зачем же, и не отклонения, а, скажем так, – изыски психики.

Да взять хоть вчера.

На террасе у Сашки Рабиновича они, как обычно, наслаждались вечерним ветерком из Иерусалима, расслабленно перебрасываясь замечаниями и лузгая тыквенные семечки, которыми торгует рыжая сушеная Яффа в своем паршивом минимаркете. Сангвиник Рабинович вернулся на днях из Праги, где он пытался наладить какой-то очередной утопический бизнес...

– Нам всем надо скорей перебираться в Прагу, – говорил он, бодро лузгая семечки. – И язык родственный. «Жопа» по-чешски будет «сруля», так что база языка уже есть...

Доктор вяло возразил, что, насколько ему известно (у него был чех-пациент), «жопа» по-чешски будет не «сруля», а вовсе «пэрделэ», на что Сашка ответил, что так еще выразительней и лучше запоминается...

– А вот у меня есть пациент, – вступил своей неутомимой валторной Доктор, – так он создает сейчас альтернативную Русскую партию. И знаете – каков основной пункт предвыборной программы?

– Отнять земли у кибуцев и раздать новым репатриантам, – предположил Сашка.

– Если бы! Основной пункт – освобождение Израиля от коренных израильтян.

Все дружно ахнули, посмаковали, полюбовались этой изумительной идеей.

– Да-да, у него все записано. Точно не помню, но смысл таков: только эта Великая алия, в основе своей антиизраильская, которая в гробу видела это идиотское государство со всеми его идеалами, только она способна вытащить страну на новые рубежи. Это ее последняя надежда. Все предыдущие волны репатриантов не стоили ничего, и ничего не добились только по одной причине – они не стали в конфронтацию к обществу и государству.

– И что ты ему прописал? – спросила писательница N.

Тут появилась Ангел-Рая с очередной сушеной воблой. Ангел-Раю всегда сопровождает по жизни стайка сушеных вобл. И тут вот такая Любочка Михална, так ее и называла своим жалобным колокольчиковым голоском Ангел-Рая.

Под Любочку Михалну предупредительный Сашка немедленно подставил стул. И сначала все подумали, что вечер испорчен. Такая себе педагог с тридцатипятилетним стажем, разговаривает директивным тоном классного руководителя. И вот этим тоном она и говорит – мой внук, говорит, один из самых знаменитых сутенеров Голливуда. Профессия, как вы сами понимаете, не для слабонервных...

И все они: и Сашка, и Доктор, и остальные – восторженно с бабкой согласились, а Доктор еще и подмигнул – мол, а старушонка-то в порядке! Спустя минуту выясняется, что старая корова имела в виду профессию каскадера. И вот – от чего зависит настроение писателя: услышала от карги о сутенере-каскадере, записала украдкой в блокнотик – и весь вечер пребывала в дивном настроении...

...Она завернула краны, вылезла из ванны и прямо на мокрое тело набросила длинную и широкую майку старшего сына. Вымахал бугай под два метра, а как был очагом землетрясения в семье, так оно и по сей день. Впрочем, курс молодого бойца – первые несколько месяцев в армии – он прошел благополучно, без истерик и взбрыков, обычно сопровождающих каждое его действие. Уверял даже, что он – лучший ночной стрелок в роте.

– Что значит – ночной стрелок? – насмешливо спросила мать (это было месяца через два, как сын ушел в армию, она уже попривыкла и спала без снотворного). – Есть такая опера – «Вольный стрелок», есть, опять же, такое удобство – ночной горшок. Но смешивать два эти ремесла...

Впрочем, ему не привыкать к ее насмешкам.

Из школы его попросили месяца за три перед получением аттестата. Он, как выяснилось, полюбил прогулки по Иерусалиму (занятие, спору нет, познавательное). Выходил из дома в семь утра – как бы в школу, возвращался в четыре – как бы из школы...

Вскрылось все в свое время: звонок учительницы – почему Шмуэль (она говорила «Шмулик»), все они здесь шмулики, шлемики, дудики, мотэки. Хотя, как это ни смешно, старшего сына в семье с детства звали именно Шмуликом, он был назван Семеном в честь покойного прадеда Самуила. По приезде сюда домашняя кличка мальчика естественным и гордым образом перевоплотилась в имя, и не в худшее имя великого пророка Шмуэля), почему Шмулик уже два месяца не ходит в школу?

Как не ходит?! Что, где?! Ах, ох!! Да нет, конечно, никаких «ах» и «ох» не прозвучало – она старый боец, закаленный в передрагах, которые всегда в изобилии ей подсудобит этот мальчик. Она выслушала учительницу, роняя только – да, нет, да-да, вот как... – с силой гоняя желваки, как поршни, словно хотела искрошить зубы в порошок.

К экзаменам на аттестат он, конечно, допущен не будет, добавила учительница, ну ничего, он сможет подучиться в армии и там же сдать эти предметы. Ты же знаешь, мотэк, – у нас человека не бросят...

Да, конечно, сказала она, я знаю...

Так передай привет Шмулику, удачи ему. Обязательно передам, пообещала она.

Бить его она уже не могла. Во-первых, не было сил, во-вторых, она уже не доставала до его физиономии – он высокий красивый мальчик, в-третьих, в последнее время он научился держать оборону, выставляя острый железобетонный локоть, о который она безуспешно и очень больно колотилась, ну и так далее.

Проблему избиения малолетних обсуждать не будем.

Каждый со своей бедой справляется по-своему...

...Да, а вчерашнюю-то воблу, Любочку Михалну, Ангел-Рая притащила, оказывается, не просто так, а знакомиться с писательницей Н. Любочка Михална, как выяснилось, – как же, как же, – читала, и даже вырезала много лет (!) публикации ее рассказов и повестей. Даже сюда привезла. Собрание сочинений Лескова, поверите ли, оставила там, а вашу тоненькую книжку, такую синенькую, привезла. (Лучше бы, все-таки, ты Лескова привезла, старая иди-

отка.) Синенькая тонкая книжка, состоящая из розовых соплей придурковатого отрочества, вышла чуть ли не в 74-м году. Когда писательнице N. о ней напоминали, ее трясло от злости.

– Ну никогда бы не подумала, что вы такая еще молодая, и такая хорошенькая!

– Она у нас пусечка! – встряла Ангел-Рая. Подожди, душа моя, скоро тебе пусечка в копеечку покажется.

– Я ж вас читаю чуть ли не тридцать лет! – Старушка зашлась. Надо остановить эту торжественную надгробную речь.

– Просто я печаталась с младшей группы детского сада, – объяснила она сухо.

– Но какая удача, что мы разговорились о вас с Раечкой. Она ведь моя ученица, знаете. Она настоящий ангел! И вдруг я узнаю, что вы здесь живете! Как – прямо здесь?! Я даже ахнула и не поверила!

– Ну почему же, – вежливо удивилась писательница N., – ведь где-то ж я должна жить...

– А я говорю: веди меня, Раюша, у меня есть для нее сюжет.

Та-ак... Начинается...

– Очень интересно, – проговорила писательница N.

И за это выслушала миллион восемьсот тысяч двести пятьдесят третью историю о расстрелянной гитлеровцами сестре Фирочке, упавшей в яму и засыпанной землей. На рассвете ее – по шевелящейся глине – откопал какой-то белорусский крестьянин и укрывал в хлеву со свиньями до конца оккупации. Сейчас сестра в Бостоне, у нее, слава Богу, большое ателье мод. Вот как раз она-то – родная бабушка того суте... каскадера.

Все правильно, Любочка Михална, советский педагог. Потому он и каскадер, что бабушку его пятилетнюю во рву расстреляли. Потому и все мы тут – каскадеры. И государство это – вечный каскадер... Только вот от кина подташнивает...

Между прочим, выслушивая историю о расстрелянной Фирочке, писательница N. в темноте прослезилась настоящими слезами.

Проклятое профессиональное воображение: мгновенная, натренированная годами и уже бесконтрольная мощь творческой эрекции, воссоздание яркой, и даже более яркой, иной реальности с запахами, мимикой лиц, суетней жестов, безнадежными старческими хрипами, ощущением скользкой, холодной, весенней глины, кишашей дождевыми червями... И маленькая девочка, оглушенная залпом, – нет, это ее пятилетний сын, оглохнув, раскрыв рот, валится навзничь в сырую, воняющую известью яму... Боже, Боже! Как страшно жить...

Ее саму всегда поражал этот феномен. Ее одинокий злой ум, ее въедливый глаз, ее прикус вампира и волчий азарт преследования дичи существовали в таких случаях отдельно, а вот эти бабьи слезы, которые, сглатывая, она проталкивала в горло, – отдельно. И это было всегда, и в тысяча восемьсот седьмой раз было бы то же самое, и она знала, что против расстрелянной немцами пятилетней Фирочки она просто бессильна...

Слушая историю, все на террасе умолкли. Доктор погрустнел и кивал головой, а Сашка сказал – вы бы написали об этом в Яд ва-Шем.

– Этот уникальный сюжет, – старуха преданно уставилась на писательницу N. – я должна была подарить только вам!

– Я вам страшно благодарна, – сказала та проникновенно. Нет, не буду я писать о Фирочке. И не только потому, что никогда не пишу о том, чего не знает собственная шкура. Но и потому, что не пользуюсь дареным. Я пользуюсь только награбленным. Я, дорогие мои, – бандит с большой дороги. И самое страшное, что я абсолютно в этом бескорытна.

– Мась, по-моему, ты должна написать про это роман, – сказала Ангел-Рая. Вот одарил же Господь таким голосом: переливы арфы, музыка небесных сфер. – Ведь правда, мась?

– Конечно, Раюсик... – ласково ответила писательница N. Вот о тебе я напишу, мой ангел...

...Из ванной писательница Н. прошлепала босиком в кухню, приняла третью за утро таблетку от головной боли и, протерев тряпкой клеенку на столе, раскрыла толстую, в клетку, еще советскую общую тетрадь – 96 листов, цена 44 копейки. Она никогда не начинала новой вещи ни на машинке, ни – сейчас уже – на компьютере: свято верила, что правая – несущая – рука должна бежать или тащиться по клеткам страницы в одной упряжке с бегущей или тянущейся мыслью...

Месяца три уже она думала о новом романе, в котором собиралась – конечно, под вымышленными именами, конечно, не буквально, конечно, в иной, более острой и гротескной плоскости – изобразить некую клубящуюся вокруг странную реальность...

Вот что было главным компонентом в этом диком бульоне, что придавало ему вкус неповторимый, подобный вкусу того сказочного супа, в который волшебница добавляла заколдованную травку: нестерпимость вечного ожидания... Возьми любого, на которого упадет взгляд, – все напряженно ждут чего-то. Причем каждый своего: кто-то ждет результата очередной биржевой операции, кто-то всю жизнь с ужасом ждет банкротства, кто-то в тихой упорной уверенности ждет, что его выгонят с работы, кто-то ждет кардинального поворота дел. Левые ждут, что оправдаются и принесут миру тяжелые территориальные, моральные и национальные потери, которые несут евреи в ходе переговоров с арабами. Правые ждут падения правительства. Поселенцы предрекают и ждут неизбежную войну. Ну а весь народ, по своему обыкновению, ждет Мессию...

Персонажей вокруг вертелось навалом, хоть поварешкой черпай. Не было только героя. Или героини. Она приглядывалась к Ангел-Рае, но... Пока же записывала коротенькие мысли, наметки, обрывки сюжета, кусочки диалогов... Некую зыбкую массу, питательный бульон. Завязывалось. Она чувствовала, что завязывается, и боялась спугнуть...

Она поднялась, прошла по кухне, подошла к окну.

Вниз под горку уходили черепичные крыши русского квартала «Маханэ руси», что переводилось как «Русский стан». Маханэ ты моя, Маханэ, оттого, что я с Севера, что ли...

Любопытная публика населяла этот квартал. Все эти университетские супермены-интеллектуалы когда-то в семидесятых ринулись в иудаизм, подгоняемые своими русскими женами. Нельзя не отметить, что одной из важнейших к тому мотивировок была: «А кому бы здесь рожу начистить?» Некоторые даже успели отсидеть чуток по этому поводу. Потом Союз пошел трещать, гулять и ходуном ходить, и сионистов отпустили восвояси, что было не так уж и глупо: из корзины воздушного шара, со страшным свистом выпускающего воздух, первым делом выбрасывают балласт.

Любопытнейшая публика. Возьмем Ури: русский человек, причем из лучших, породистых представителей нации. По слухам (а может, это и анекдот), проходил гиюр несколько раз. Говорят, всякий новый раввин, взглянув на него, понимал, что этот гой хочет любыми путями вырваться в Канаду, и заявлял, что не признает предыдущего гиюра. Последний раз Ури прошел гиюр у ультраортодоксального раввина в Меа-Шеарим. Это все равно, что креститься у папы римского. Зато уж после этого «досы»⁵ приняли Ури в свои объятия. Что да, то да. Что есть, то есть: у евреев не принято напоминать человеку, что когда-то он был неевреем. Считается, что у всякого в прошлом могут быть те или иные неловкости и не очень красивые обстоятельства...

Второй с краю виднелась крыша Сашкиного коттеджа, за ним – докторский, пятый с конца – коттедж Ангел-Раи.

Ангел-Рая...

Вот, извольте, жила-была девочка... по ее собственному уверению – рядовой библиотечарь районной московской библиотеки – кажется, Краснопресненской. (Известная писа-

⁵ «Досы» – презрительная кличка ультраортодоксов.

тельница Н. в свое время выступала в библиотеках по линии бюро пропаганды писателей. В Краснопресненской тоже, было дело, выступала. Ангел-Раю... нет, не помнила.)

Могло ли быть такое, чтоб сирая библиотечная пташка, книжная краснопресненская моль обернулась здесь всеблагодатной Жар-Птицей, семикрылым серафимом, являющимся на всех, без исключения, перепутьях, перед всеми, без исключения, томимыми жаждой? Вряд ли... Тогда откуда она, с вашего позволения, взялась – Ангел-Рая?

Нет, существовал и общепризнанный апокриф: в дирекцию Духовного Центра Русской Диаспоры лет шесть назад – в самом начале Большой алии – явилась обаятельная молодая женщина и предложила основать библиотечку для новых репатриантов (маленькую, скромную, по запросам пенсионеров, чуть ли не переносную аптечку). Знаете, много пенсионеров приехало, жаль старичков – им уже не войти, не влиться в общество, что ж им – помирать раньше времени?

Словом, такая вот благотворительная манная кашка.

Дирекция – а это были два добрых молодца, Митя и Мотя, получающие хорошие оклады и на ниве своей культурной деятельности желающие только одного: ничего, – вяло полюбопытствовала – зачем еще это?

– Как зачем? – светло удивилась лунолика. – Чтобы людям было куда прийти.

Митя и Мотя, ослепительные мудозвоны, вообще-то считали, что людям и без того есть куда прийти – ведь бар Духовного Центра работал с утра и до поздней ночи. Они помялись, переглянулись...

Целыми днями они сидели в обклеенной афишами продымленной комнатке под лестницей, курили, трепались по казенному телефону и спокойно ждали, когда явится очередной извозчик с очередной знаменитостью в пролетке и снимет зал по семьсот шекелей за вечер.

Ясный взор молодой культурницы обещал им беспросветные и бесконечные хлопоты, а возможно, и дальнюю дорогу (как оно впоследствии и оказалось), но обаяние ее улыбки было не обычного, а какого-то радиоактивного свойства. И, превозмогая себя, чуть ли не в корчах, чуть ли не предощущая свою кончину, они выделили для новорожденной библиотечки закуток, комнатку метров в двенадцать. А чё – пусть старперы радуются, в самом деле.

– Но никаких субсидий на приобретение фондов не ждите, – предупредили строго Мотя и Митя.

– Я свои книжки принесу, – успокоила их она, – у меня есть, двести пятьдесят штук.

И те успокоились, дурачье...

Уже через какое-то плевое количество дней выяснилось, что к этой молодой женщине (этому ангелу, существу ангелу, всех обнимающему своими светлыми крылами), как муравьи к начавшему строиться муравейнику, потянулись самые разные люди. Старички, привезенные на Святую Землю в молочном возрасте – отпрыски купеческих, адвокатских и врачебных еврейских семейств Москвы и Петрограда, – перед лицом грядущей кончины принялись наперегонки дарить новорожденной Русской Библиотеке Иерусалима, – да нет, не библиотеке, а ей, Ангелу нашему, – сотни уникальных изданий, вывезенных из России в начале века.

Народная тропа весьма скоро была основательно утоптана, обрела тенденцию к разрастанию в широкий тракт, в скоростное шоссе, во взлетную полосу.

И Ангел-Рая взлетела...

Вскоре Библиотека насчитывала три тысячи томов, открылся отдел редкой книги, букинистический отдел. Ангел-Рая незаметно вытянула из широких штанин «Кворума» три или четыре библиотекарские ставки, благоустроила на них каких-то своих неимущих девочек-одиночек.

Заколосилась читательская нива, организовались какие-то творческие встречи кого-то с кем-то... Очнулись от обморока эмиграции старые профессора, филологи, теоретики литературы и искусства, музыковеды, востоковеды, лингвисты, специалисты по истории Древ-

него мира и Средних веков, и невозможно перечислить – по чему еще! Образовался целый корпус профессуры. И каждый желал лекции читать, хоть за бесплатно... На, читай, дорогой!

Ангел-Рая ликовала, звонила каждому, приглашала на все новые и новые сходки, диспуты, лекции, концерты... Заглядывала всем в глаза и спрашивала доверчиво: «А правда, здорово, мать?»

Возникли кружки – вот как почки лопаются на деревьях, процесс неудержимый: в одно прекрасное утро проклеывается листочек... Дети ведь должны рисовать, это полезно, это развивает видение мира... Разве мы допустим, чтобы наши дети... Да, ну и хор, конечно, нет у нас непоющих детей...

Так что срочно требовались помещения.

Как это делается – известно: Большое Ходатайство припадающей к стопам Власти русской общины за несколькими сотнями подписей. «Развитие и сохранение культуры страны исхода... духовные запросы... интенсивная интеллектуальная жизнь... высокий культурно-образовательный потенциал Большой русской алии...»

(Называется здесь это деловито-слезное прошение почему-то «проектом». Это удобно: такой невинный проект под условным названием «Как зарезать и освежевать двух идиотов, которые сами себе могилу выкопали».)

Власти (родимый «Кворум», матка боска, развесистые титьки) пораскинули, прикинули и решили – а что б не дать? Составлено красиво...

По истечении весьма небольшого срока два хладных трупа, выброшенные бушующими волнами океана общественной жизни на поверхность вод, плавали с окоченевшими от оторопи физиономиями, уже не привязанные, как и подобает покойникам, ни к культуре, ни к окладам, ни к каким бы то ни было духовным центрам. Кажется, один из мудозвонков – то ли Митя, то ли Мотя – занялся распространением нового уникального препарата «Группенкайф», второй открыл кабак для русских паломников – «Гречневая каша». Собирался, по слухам, и впрямь кормить паломников гречневой кашей (интересно, за кого он их принимал?). Но прогорел. Неважно.

Дальше...

А дальше все интереснее и интереснее. Многие прихожане-обожатели полагали, что Ангел-Рая-то сейчас по праву и возглавит Духовный Центр. Глупые, вы бы ей еще прачечной командовать предложили. Центр возглавил какой-то мальчик (Левинька? Гришенька? Володечка?), их много у нее по карманам было распихано, и жизнь в Духовном Центре пошла широкая, вольная и чрезвычайно интенсивная.

Ну а она, Ангел-то наш, основатель культурной диаспоры, глава и источник, – она-то что?

Она улыбалась и стеснительно говорила, рассыпала горстями ксилофонные звоночки своего небесного голоса: «А что – я? Я – простой библиотекарь...»

Потом вся эта кипящая каша созрела, разбухла и полезла, как из кастрюли, из узкого и тесного здания Духовного Центра, расползлась по разным уголкам города, освоила залы, зальчики, подвалы и клубные помещения... Ангел-Рая брала все, что предлагали, ни от чего не отказывалась – там две комнатки на чердаке, там – закуток в бомбоубежище... все хорошо, все кстати. Здесь мы организуем детскую студию художественной лепки, а там – лекции по икебана. Для пенсионеров. Это успокаивает – икебана лучше, чем вязание.

И все это возглавляется какими-то, из-под полы ее юбки, из-за пазухи, из рукава выглядывающими вдохновенными подвижниками, согласными работать за три копейки, а то и за теплое спасибо. Однако все знают, что эти подставные директора-подвижники – дело десятое. Все знают – кому в случае чего звонить, кого просить и кто поможет – она, она, светлейшая!..

(Вот так, между прочим, создаются империи... А вы как полагали...)

Ну а что касемо представительства, то все залетевшие сюда сдуру, по неопытности, от усталости или по старости, известные люди, конечно же, ею пронумерованы и прижаты к груди. Приколоты к нежному бюсту, как блестящие брошки. Все присутствуют на торжественных открытиях, закрытиях, учреждениях, присвоениях...

Она всех собою обволакивает. Да и прикиньте – сколько их здесь, знаменитостей? Раз, два и обчелся, товар штучный. (Хотя, с другой стороны – ситуация проживания в крошечном замкнутом обществе чревата обветшанием имиджа. Пропадает куда-то у восторженных масс пиетет, дистанция. Большое, как известно, видится на расстоянии, а расстояния-то здесь кот наплакал, из конца в конец страны на автобусе пять-то часиков. Поневоле большое раздражает, загромождает, хочется его отодвинуть, задвинуть в угол, наконец, отдать кому-нибудь, сирийцам что ли...)

Иногда вот задумаешься и даже испугаешься: а чего ж она, Ангел-Рая, в конце концов хочет? Ну не миром же, в самом деле, править? Хотя, еще пару-тройку таких вот ангелов... и чем вам не заговор сионских мудрецов? Кроме шуток. Зайдешь к ней по соседству – она, лапонька, сидит на краешке дивана, в халатике, старательно красит перед зеркалом ресницы и светло так говорит: «А у нас вчера было открытие „Клуба любителей оперы“. Правда, здорово, масть? – снимет мизинцем с ресницы излишек туши и добавит: – Я люблю, когда всем хорошо... Главное, чтоб людям было куда прийти».

Загадка. Вот как хотите – загадка!

Писательница N. выпила воды из крана – о, какая мерзкая вода в этой земле, текущей молоком и медом!.. – раскрыла тетрадь и написала: «Ангел-Рая. Крошка недюжинного, государственного ума. Женщина-учреждение. Канает под кошечку. Ходит, вертит задом – настоящим задом старинной ручной работы. Сейчас таких не делают. Сейчас редко встретишь женщину со столь добротным обоснованием всего сущего на земле... Вообще – Ангел с нежнейшим голосом. Любит быть в курсе не то что всех событий и веяний, но стоять у истоков, начинать, держать в руках нити, поворачивать штурвал, греть под крылом, высиживать, сладко интриговать, нежно, небожно убивать соперника, да и не убивать вовсе (что это я!), а растворять в некоем вязком сиропе, тихо помешивая ложкой варево. Напевая при этом колыбельную песнь. Обладает способностью возникать одновременно в нескольких местах».

Зазвонил телефон. Опять она забыла отключить это проклятье цивилизации! Ну, подойти или не подходить?

Она пропустила звонка два-три, надеясь, что муж сжалится над ней, подойдет к телефону и защитит, отгонит, как комара-кровососа, очередного знакомого-приятеля-автора-старушку.

Конечно, не подошел, эгоист несчастный.

Телефон звонил. Она притащилась в комнату и сняла трубку.

– Мамка! Только не перебивай и не пугайся! – торопливо и жалко, и как-то сдавленно проговорил ей в ухо, и – как ей показалось – прямо в больной мозг – голос старшего сына. Она рухнула в кресло рядом с телефонной тумбочкой.

– Где ты?! – спросила она.

– Только не кричи... я сбежал из армии... Все, надоело! Я... я не хочу... эти проклятые грузовики... я не могу... я ему сказал, что...

– Свола-а-ачь!! – заорала она страшным утробным ревом. Так она не кричала даже тогда, когда рожала этого крупного и по сей день бессмысленного ребенка. – И-ди-о-от!!! Говнюк паршивый!

Грохнув мольбертом, выскочил из мастерской муж, обхватил ее трясущиеся плечи, сжал. Он сразу все понял, чего уж. Сын был такой. Сюрпризник.

– Тебя посадят в тюрьму, паскуда, дерьмо собачье!!! – орала она иступленно.

– Мамка, спаси меня... – плачущим голосом проговорил он.

Сердце ее оборвалось.

– Где ты?

– Здесь, рядом с воротами базы. Я сказал, что выйду за сигаретами.

Ну, не болван? Она физически ощутила, как разжались, распустились сведенные в судороге внутренности.

– Сынок! – проговорила она негромким командным голосом. Руки ее тряслись. – Успокойся и немедленно вернись на базу... Я выезжаю сию минуту. Я все улажу... Не бойся. Все будет хорошо...

Потом она металась по дому в поисках чистой блузки и не мятой юбки, и муж, чувствуя себя бесполезным (он плохо говорил на иврите и к тому же должен был встретить из школы младшего), – виновато помогал ей застегнуть тесный лифчик.

Потом она умылась, припудрила истерзанное лицо, выпила еще одну таблетку от мигрени и, прихватив сумочку, выбежала из подъезда в адово пекло, жарь и муть, безвоздушное пространство хамсина.

Муж глядел из окна, как она шла через дорогу к остановке автобуса. Ей предстоял долгий и кошмарный путь – с несколькими пересадками и ловлей тремпа под солнцем, на грохочущем грузовиками перекрестке – на военную базу, куда-то под Ашкелон.

Писательнице Н. – и надо сказать, известной писательнице, – предстояли сегодня немислимые унижения...

5

Тель-Авив отличался от Иерусалима куда больше, чем может отличаться просто приморский пальмовый город от хвойного города на горах. Здесь по-другому текло время, иначе двигались люди. Они иначе одевались – будто невидимое око, что вечно держит стражу над Иерусалимом, здесь опускало веко и засыпало, позволяя обитателям побережья жить так, как в Иерусалиме жить просто непозволительно. Оно, до времени, спускало им многое, чего бы не спустило жителю Святого города, вынужденного дышать разреженным воздухом над крутыми холмами.

Иерусалимцы, когда им нужно было съездить по делам в Тель-Авив, говорили: «Сегодня я должен спуститься». Тель-авивцы не представляли, как можно жить в городе, каждую минуту предъявляющем тебе счет к оплате.

Зяме нравились только тель-авивские старухи с их аккуратно подбритыми, седыми волосами на морщинистых шеях, похожих на растрескавшуюся летом глинистую почву – такыр, с их малиновым маникюром на пальцах, с шестизначными лагерными номерами, выколотыми на дряблых руках.

Возвращаясь с работы, Зяма свободно вздыхала лишь тогда, когда автобус въезжал в «Ворота ущелья», откуда начинался подъем в город по Иерусалимскому коридору.

Отсыпалась она обычно в автобусе, на обратном пути в Иерусалим.

Кайф прилипшей за эти несколько лет привычки: вскарабкаться по неудобной угластой лесенке на второй этаж, при этом непременно получив по зубам ствол «узи», свисающим с мясистой задницы какой-нибудь восходящей впереди тебя солдатки.

Второй этаж – мечта идиотки: уместиться в ворсистое кресло у окна и задремать... Уснуть. И видеть сны.

И дремать на всем протяжении пути, блаженно ощущая безопасность дороги.

Впрочем, относительную безопасность. Года за полтора до их приезда на этом шоссе Тель-Авив – Иерусалим, на участке горного серпантина, погибла тьма народу, вот в таком автобусе. Дело обычное: террорист вырвал у водителя руль и направил автобус в пропасть. Ну, и так далее.

И все-таки. Все-таки это вам не разбитая дорога через арабскую деревню Аль-Джиб...

Забавно, что просыпалась она на одном и том же отрезке пути, на вираже, где шоссе подкатывало и бежало несколько сот метров вдоль чудной картинке, местечка Бейт-Зайт: виллы под черепичными крышами карабкаются в лесистую гору, подпирающую Иерусалим.

Она просыпалась, разминала занемевшими руками шею... Минут через десять выскакивала из автобуса в бестолковщину автостанции, битком набитой солдатами, хасидами, нищими, широко шагающими пожилыми монахинями с опрятными лошадиными лицами, белобрысыми скандинавами, у которых со лбов и ушей свисают перевитые цветными нитками косицы. Со статными чернобородыми красавцами – священниками армянской церкви, с давно уже не новыми новыми репатриантами, что-то дотошно выясняющими у девушки в информационном окошке...

Странно, что и здесь, то натываясь на автомат, то спотыкаясь о брошенный посреди тротуара вещмешок, она все еще физически ощущала и берегла, даже баюкала в себе это чувство личной безопасности. Странно и глупо: чуть ли не каждую неделю станцию оцепляла полиция, теснила по сторонам толпу, и люди привычно ждали, когда разберутся с очередным подозрительным тюком под скамейкой...

Ну-с, автобус номер двадцать пять до Французской горки. Вот и все.

Здесь, на развязке дорог, жизнь разделялась, как и дороги: за спиной оставались многоэтажные дома respectable района Гиват-Царфатит, направо шоссе ныряло под новый мост и мимо белого безмятежного городка на горе – Маале-Адумим – уводило к Мертвому морю.

Прямо – стратегическое шоссе на Шхем, проложенное сквозь густонаселенные арабские города Рамалла и Аль-Бира. По краям этого шоссе, сразу за перекрестком, начинались виллы арабской деревни Шоафат.

Налево пойдешь... Направо пойдешь... Прямо пойдешь. В этом месте, на обочине шоссе, на асфальтовом пятчке возле затрапезной, бобруйского вида синагоги, ждали тремпа жители поселений северной ветки. Сюда, к пятчатку, и подкатывал номер двадцать пятый, и здесь, рядом с врытой в землю деревянной скамьей и телефоном-автоматом под металлическим козырьком, можно было топтаться часами. Зимой – под проливным дождем, летом – обморочно уплывая в сухом печном жару.

Номер этого телефона-автомата знали все поселенцы, на тремп звонили.

Вот и сейчас зазвонил телефон. Зяма сняла трубку. Детский голос сказал насморочно: – Леу, тремп? Позови маму. Рони обкакался и плачет.

– А кто – мама? – спросила она. В трубке подумали, вспоминая.

– Мири. Мири Кауфман из Кохав-Яакова.

Она обернулась и крикнула в небольшую группку поселенцев:

– Мири Кауфман – Кохав-Яаков – есть?

Тонкая, в свободном черном платье женщина, с рюкзаком за плечами, по-солдатски отчеканив: «Я!», метнулась к телефону.

И тут подкатил красный «рено» Хаима Горка. Как обычно, она обрадовалась, засуетилась, бросилась к кромке тротуара, боясь, что он ее не заметит... Но Хаим – военная косточка – как и было договорено, подъезжал обычно к условленному часу, а если и раньше, то ждал несколько минут. Но это случалось крайне редко, она всегда старалась приехать загодя, минут за десять.

Хаим громко объявил в спущенное окно:

– Неве-Эфраим! – А она уже ввалилась рядом на переднее сиденье. Сзади, пыхтя и что-то бормоча, долго приспособливалась с авоськами толстуха Наоми Шиндлер. Наконец тронулись.

– Стоп, – сказал Хаим, тормознув и глядя в зеркальце. – Вон бежит Джинджик⁶ Гросс, возьмем его. Зяма, ну, крикни ему, он нас не видит.

Взяли запыхавшегося и довольного Джинджика – действительно красно-рыжего мальчика лет одиннадцати – Зяма не помнила, как его зовут, – пятого или шестого в семействе Давида Гросса.

Поехали... Замелькали арабские виллы по обеим сторонам дороги.

– Наоми, – пробурчал Хаим, – подними стекло, если ты не возражаешь.

Она вдруг подумала: ничего, ничего не поймешь в этой жизни, в этих людях, в этой езде с ними по этой проклятой дороге в это чертово поселение посреди арабского города, принципиально не огороженное забором. Подними стекло, Наоми, если ты не возражаешь, – бытовая, секундная просьба, коротенькое, почти бездумное движение... Если ты не прочь пожить еще, Наоми, подними стекло, пожалуйста. Если тебе неохота получить камнем в висок, Наоми, будь любезна... Чтобы отцу твоих детей не пришлось – упаси Боже! – читать кадиш по своей жене... Наоми, будь так добра... ну и так далее, возможны вариации...

Проехали поворот на Неве-Яков, закончились дома и магазины деревни Шоафат, началась Рамалла. Если добираться на автобусе, то в этом месте, рядом с издали заметной виллой из розового камня, в автобус всегда входили сопровождавшие – два солдата с автоматами и рацией. Это место было некой невидимой границей, за которой опасность поездки признавалась безусловно существующей.

Муж всегда просил Зяму добираться на автобусе, «культурно» – с автоматчиками и рацией. Но скоро из Рамаллы выведут части ЦАХАЛа, и будет уже все одно – как добираться. Удивительно, как высшие силы, словно кожуру с луковицы, снимают упования простого смертного: упование на силу оружия, упование на здравый смысл, упование на людское сострадание, упование на чью-то добрую волю... Оставляя в итоге лишь одно: упование на волю Божью.

Как обычно, у нее непроизвольно напряглись мышцы шеи – это всегда происходило и усиливалось по мере приближения к повороту с центрального шоссе, рядом с мечетью, где, свернув, узкой, петляющей между каменными заборами улочкой машины поднимались в гору. Здесь, на вершине горы, подковой лежал Неве-Эфраим, небольшое поселение над Рамаллой.

Господи, сколько еще лет надо прожить в этом месте, сколько тысяч километров дороги намотать, чтобы не чувствовать так позорно, так жалко своей застывающей в параличе шеи? Истрепанные нервы, психоз полоумной дамочки: почему-то она была уверена, что если пуля – то непременно в шею.

В эти семь минут она старалась не думать, не концентрироваться на шее – какие-то несчастные семь минут...

– Джинджик, где ты болтался так поздно один? – спросил Хаим, делая суровое лицо в зеркальце.

– Я не один, – мгновенно, как все рыжие, залившись краской, торопливо ответил мальчик. – Я с папой, а он еще должен сделать покупки, а мне еще уроки делать, а мама сегодня родила мальчика.

Они втроем дружно гаркнули: «Мазаль тов!» – Зяма громче Хаима и Наоми, она всегда радовалась прибавлению в Неве-Эфраиме.

– Опять – мальчик?! – в притворном ужасе воскликнула Наоми Шиндлер. – Когда же будет девочка наконец?

Джинджик покраснел еще гуще и сказал:

– В будущем году, с Божьей помощью.

⁶ Джинджи – рыжий.

– Ты уже видел маленького?

– Да! – сказал Джинджик, сияя. – Он такой мотэк! Папа сказал, мы назовем его Ицхак-Даниэль.

– Замечательно, – сказал Хаим, заворачивая в улочку перед мечетью. – Всем отстегнуть ремни.

Вот эти три минуты были как три глубоких вдоха. Вдох: резкий поворот направо, магазин бытовых товаров, вилла с цветными стеклышками в окнах террасы, запущенный пустырек с тремя могилами; вдох: поворот налево, глухой забор с двух сторон, и, следовательно, возможность заработать камень, бутылку «Молотова», пулю; вдох: еще налево и круто вверх, приземистые дома с помойками, ряды оливковых деревьев, последний арабский дом, несколько метров пустой дороги и, наконец, ворота, шлагбаум, будка охранника: выдох, выдох, вы-ы-ы-дох...

Хаим гуднул перед шлагбаумом, в окне будки показалась белесая физиономия Иоськи Шаевича. Он махнул рукой, шлагбаум поднялся, они въехали на территорию поселения Неве-Эфраим.

– Зьяма, – сказала Наоми Шиндлер, – твой пес опять нагадил на моем участке.

– Что ты говоришь! – воскликнула Зьяма, делая вид, что удивляется и негодует. – Я ему скажу!

Джинджика и Наоми высадили возле водонапорной башни, а Зяму Хаим всегда высаживал на том краю поселения, где под гору спускались ряды вагончиков. В них жили семьи, недавно приехавшие сюда и еще не вросшие в эту вершину, еще не решившие – вратать ли в это опасное место.

– Как твоя спина? – спросила она Хаима, приоткрывая дверцу машины.

– Болит, как болела, майн кинд.

– Ты был у врача? Какой они ставят диагноз?

Она так и сказала – «диагноз». Хаим знал несколько языков, она разговаривала с ним свободно, подпирая беседу, если это требовалось, подвернувшимися под руку общеиностранными словами.

– Диагноз называется «молодой-пройдет», – сказал он. Хаиму весной исполнилось шестьдесят восемь.

– Все пройдет, майн кинд, – сказал он. – Еще немного, и все пройдет...

...Вагончик этот назывался по здешнему «караван» – как-то странно, не по делу. Но если взглянуть отсюда, сверху, на спускающиеся под гору однообразные ряды вагончиков, в воображении и впрямь возникал караван, медленно вползающий в лысое мшистое ущелье.

Вагончик, где жила ее семья, стоял у подножия горы, на самом краю поселения. Дверь распахивалась в захватывающее дух пространство далеких и близких холмов, долин, ущелий, которые видны были разом все, – эффект здешней топографии. Например, на боку шестой отсюда, ржаво-зеленой горки, как в бинокль, видна была группка оливок, издали напоминавших рассыпанные кочаны брюссельской капусты; в ясный день вокруг этих кочанов ползали букашки овец и двигалась белая точка – куфия на голове пастуха-араба.

Проклиная каблуки, Зьяма стала спускаться по асфальтированной узкой дорожке круто и извилисто вниз (ей-богу, лучше б оставили первозданную тропку с кустиками по краям), а снизу, от последнего «каравана», уже бежали к ней в сумерках семилетняя дочь и собака – годовалый тибетский терьер, возлюбленный пес, – облаивая и обкрикивая округу...

6

Сашка Рабинович хотел разбогатеть. Окончательно. Чтоб навсегда забыть о деньгах, которые, в сущности, он не любил. Сашка не был алчным человеком, наоборот, его щедрость и широта славились в округе.

Редкая птица не прилетала в субботу посидеть на его террасе, полюбоваться на Иерусалим, поклевать семечки и орешки, запивая их стаканом хорошего сухого.

Нет, Сашка не любил деньги и никогда не знал, сколько их у него. Не интересовался. Но когда они кончались, приходилось придумывать и создавать очередной источник дохода, который со временем неизбежно иссякал.

Первые месяцы после приезда Сашка раз в неделю подрабатывал на радиостанции «Русский голос» – Всевышним. Получал соответственно – 300 шекелей в час.

Это была религиозная передача для советских евреев. Работали они на пару с Семей Бампером. Когда Сема, к примеру, читал:

– «И сказал Господь...»

Сашка вступал своим обаятельным мягким баритоном:

– «И уничтожу у тебя всяк мочащегося к стене...»

Потом загадочный американский спонсор, решив, очевидно, что русских евреев скопилось на Святой земле достаточно, перестал давать деньги на эту затею, и должность Всевышнего на радио была упразднена, хотя сам Он, да святится Имя Его, конечно же, вечен...

Затем некоторое время Сашка, как многие здесь, водил экскурсии. Он бросил это неблагодарное занятие после того, как один скандальный турист из Боярка отнял у него свою, уже уплаченную за экскурсию, десятку. Туриста потрясло отсутствие еврейского Храма.

– Что это, вот это?! – спрашивал он, брезгливо кивая на остатки Западной Стены (тоже, между прочим, не маленькие). – За что ж вы деньги-то гребете?

– Я разделяю ваше разочарование, поверьте, – с достоинством отвечал Рабинович. – Но Храм сожгли римляне в начале новой эры.

– Так предупреждать же надо!!! – оскорбленно орал тот.

Боярка, как известно, довольно крупный поселок городского типа. Но можно допустить, что вести доходят туда не скоро.

Будучи талантливым театральным художником, Сашка знал, что для всего в жизни требуются соответствующие декорации: для Любви и Смерти, для Одиночества и Пира, для Радости и Битвы. Что же касается Добывания Денег, тут нужны декорации особого рода – переносные, удобные, легкоскладывающиеся, многофункциональные. Тут нужен интеллект, пространственное воображение, инженерный подход к делу.

Для начала – поскольку надо же было где-то жить – он возвел декорации Дома, для чего вступил в строительный кооператив «Маханэ руси» («Русский стан»).

Ряды строящихся коттеджей этого нашумевшего кооператива и впрямь были вылитые декорации: фирма строила по бельгийскому проекту, не опробованному еще в условиях местного климата, – стены из толстой фанеры, впоследствии обложенные камнем.

Фанерная стройка произвела на будущих жильцов столь глубокое впечатление, что многие пайщики, плюнув на убытки, срочно покинули ряды «Русского стана».

Сашка же Рабинович, привыкший к условиям сцены, бродил меж фанерных щитов радостно возбужденный, ему нравилось, что на второй этаж будет вести деревянная лестница (тоже по виду и цвету подозрительно смахивающая на фанеру), что во внутренних стенах легко будет вырезать окна разных форм и размеров, и, наконец, ему нравилось то, что окружать коттедж будет полоска земли, на которой он собирался возвести декорации Сада.

На завершающем этапе изнурительно долгого (из-за отсутствия нужного числа пайщиков) строительства, – когда голые фанерные щиты прикрыли плитками бело-розового, похожего на бруски пастилы, иерусалимского камня, а затем и черепицу настелили, – эти декорации (как и положено хорошим декорациям) стали удивительно напоминать настоящие дома. И хотя полки с книгами вешать на стены все-таки не советовали, а звукоизоляционную прокладку между первым и вторым этажами строители положить забыли, новоселы шхуны «Маханэ руси» с энтузиазмом въехали в свои новенькие дома и бодро принялись сажать на полосках собственной земли кусты бугенвиллей, цветущие, как известно, избыточно яркими фиолетовыми, бордовыми и розовыми соцветиями.

Вот тут-то нужда и схватила Рабиновича за горло. У него потянулась полоса неоправданных расходов.

Взять хотя бы эту чертову террасу.

Дома шхуны «Маханэ руси», как ласточкины гнезда, лепились вверх, на склоне горы, на вершине которой и раскинулся эллипсом их городок, по сути – спальный район Иерусалима.

Из окон новеньких коттеджей открывался эпохальный вид для паломников. Масличная гора и гора Скопус лежали на горизонте, как груди, полные молока, мифов и легенд. Сосками торчали на их вершинах башни университета и госпиталя Августы-Виктории. Извилисто бежала меж этих грудей дорога из Иерусалима к Мертвому морю. Она была унижена фонарями, которые с наступлением сумерек затепливались, почти сливаясь с угасающим светом дня, затем наливались топленным молоком, густевшим с каждой минутой, и вскоре сверкали во всю мочь, словно низку топазов бросили сверху на черные горы.

Глупо было не соорудить террасу с видом на этот мифологический пейзаж. Небольшую, но просторную. Метришков на сорок.

Денег вот только не было...

И тогда Доктор, человек бывалый во многих отношениях, ведущий специалист по депрессиям и самоубийствам в среде репатриантов, посоветовал надежного недорогого араба из соседней деревни Аль-Азария (где, согласно христианским источникам, произошло воскрешение Лазаря, пресловутого еврея).

Араб привел с собой другого, тоже недорогого, с экскаватором. Они удивительно быстро разровняли на склоне под Сашкиными окнами широкую прямоугольную ступень, за считанные часы замостили ее плитками иерусалимского камня, возвели невысокие бортики с нишами для глиняных псевдоантичных амфор... Из ничего, из мечты возникла терраса, живописно нависающая над обрывом; как фуникулер, плыла она навстречу Иерусалиму или отчаливала от причала Масличной горы – в зависимости от направления бегущих облаков.

Эх!!! Сашкина душа пела.

Вызванный для экспертизы Доктор одобрительно поцокал языком, прошелся в сандалиях на босу ногу по новенькому гладкому полу.

– А ведь сезон дождей на носу, – задумчиво проговорил он, – вот будет интересно, если эта античная роскошь в обрыв хобнется...

Сашка забеспокоился. Арабы ждали расчета.

– Забери-ка у него паспорт, – посоветовал Доктор. – Если что – вытрясешь душу.

Рабинович сказал арабу насчет паспорта. Ивритом они владели примерно на одном уровне, араб даже лучше. Он подозрительно легко оставил у Сашки свой иорданский паспорт. Так ящерица оставляет хвост тому, кто на него наступит.

Через неделю начались дожди, и в первую же бурную ночь стихия, как вафлю, надкусила новенькую Сашкину террасу, изрядный ее кусок выплюнув в овраг.

Вызванный для экспертизы Доктор осторожно подступил к краю террасы, попробовал ногой качающуюся плитку – так купальщица пробует температуру воды, – плитка сорвалась и, крутясь, полетела вниз.

– Арабская работа, – проговорил он задумчиво, – я тебя предупреждал... Ну что ж, езжай в Аль-Азарию и приволоки его за яйца.

Рабинович сел в машину и поехал в деревню. Какие там, извините за выражение – яйца! Из знакомого дома вышел старый араб в клетчатой куфие и с вялым интересом выслушал негодующего Рабиновича. На требование вызвать сына, сказал, что Мухаммада нет, он ушел в Иорданию.

– Как – ушел? – удивился Сашка. – У меня ж его паспорт.

Араб уже с большим интересом смерил его взглядом и тихо спросил без малейшей иронии:

– Адони, может, у тебя и жена одна?.. Впрочем, добавил старик, у него есть еще девять сыновей, и все знают эту работу, могут подправить обвалившуюся террасу. И тоже недорого.

– Нет, – сказал Рабинович. – И жена у меня одна, и девять иорданских паспортов мне не нужны. Разве что группу диверсантов готовить. Но это в другой раз...

Он закупил мешок цемента, плитку, мастерки, и вдвоем с Доктором, разнообразно матерясь по-русски и по-арабски, они криво и косо, с грехом пополам подправили террасу. До известной степени это тоже была арабская работа.

Когда кончился сезон дождей, Сашка по дешевке раздобыл большой пластиковый стол и такие же стулья, и терраса стала излюбленным местом встреч обитателей квартала «Русский стан». Какие только идеи не зарождались здесь, какие только замыслы не воплощались!

А по вечерам, когда со стороны Иерусалима поддувал легчайший ветерок и фонари по дороге к Мертвому морю наливались топленным молоком, разгораясь все ярче и превращаясь в низку сверкающих топазов, когда на черное небо всплывал маслянистый блин луны или золоченая, как дешевый сувенир, турецкая туфелька молодого месяца, редкая птица не прилетала на эту террасу: поклевать орешки, обсудить будущее Большой алии, разведать новости, запивая их стаканом красного сухого с задушевым названием «Врата милосердия»...

А время от времени, когда угрожающе накренился тот или другой край террасы или отваливалась и летела в овраг очередная плитка, Сашка брал мастерок, замешивал горсть цемента и на живульку подправлял это дело.

* * *

Ближайшей соседкой Рабиновича по шхуне оказалась Ангел-Рая. (Грамотней-то по-русски сказать – «кварталу», да соблазнительно сравнение шхуны «Маханэ руси» с настоящей, до известной степени, флибустьерской шхуной, плывущей впереди горы, как плывет впереди корабля резная сирена на носу, раздвигая воду деревянными гребнями...)

Да и команда шхуны-шхуны...

Нет, конечно, невозможно сравнивать интеллектуалов русского квартала с матросским сбродом, что набирали боцманы пиратских брига по портовым тавернам старушки Англии... И все-таки... глянешь порой на ту или иную лохматую бороду, промелькнет за углом узкой улочки некий горбоносый профиль, качнется под ногами палуба, земля то есть, особенно по субботам, когда команда шхуны «Маханэ руси» воздавала должное святому дню и из распахнутых дверей каждого дома неслись субботние песни, и так и чудилось, что припев закончится известным «Йо-хо-хо! И буты-ылка рому!»... Словом, хочется почему-то квартал «Русский стан» называть – как, собственно, и называли его в округе – шхуна «Маханэ руси». А стиль... Бог с ним, со стилем!

Так вот, к счастью, ближайшей соседкой Рабиновича оказалась Ангел-Рая, и Сашка сразу сообразил, что рука об руку с этим гениальным режиссером можно закатывать такие грандиозные шоу, гала-концерты и вселенские оперы в природных декорациях Иудейской пустыни, что – согласно пророчествам – расступятся горы, выйдут потоки из Иерусалима и соберутся в долине Иосафата все народы Земли, и будет их судить Великая Русская алия.

Для начала на базе Духовного Центра и под эгидой международного Центра Русских библиотек (разумеется, как глава Русской Иерусалимской библиотеки его курировала Ангел-Рая) был изобретен проект МЦеПОтУ – Международный Центр Помощи Отстающим Ученикам.

Ах, оставим эти «базы»! Страстное желание Сашки разбогатеть, его воображение, помноженное на государственный размах Ангел-Раи, для которой ничто было не лишне, голоштанная башковитая советская публика, которую, как непереваренной пиццей, маялось израильское общество, сметка, хватка, судьбы рулетка – вот она – «база», на которую опирался проект с таким трудновыговариваемым названием.

Немедленно была запущена машина по составлению текста проекта, переводу его на английский и иврит, по сбору подписей именитых и влиятельных лиц, по представлению проекта в разнообразные фонды, эти огромные развесистые груди, питающие обитателей Святой земли тем самым молоком и медом... Первым делом – как это здесь водится – создали амуту, омут такой; такой, вроде, кооператив, бесприбыльный, но...

Когда дело касалось подобных амутот (омутов) в области культурной, да еще с этим-то международным размахом, предполагался представительный синклит почетных членов.

За ними в карман не полезли: помимо домашних знаменитостей, вроде известной писательницы N., в почетные члены омута избрали посла России (толстого господина с тростью, которого все здесь за что-то любили и чрезвычайно почитали – природа любвей и ненавистей на местной почве еще не изучена) и американского поэта Иосифа Бродского.

Первый узнал об этом за завтраком, листая газету «Регион», второй понятия не имел, и так и не узнал до самой смерти. (Ангел-Рая, признаться, еще при жизни поэта подбивала известную писательницу N. написать ему «от всех нас» письмишко, просто так, от души, но та сказала, что, по слухам, господин сей желчен, и если что не по нем – отбивает.)

Ну-с... Далее по сценарию следовали челночные встречи организаторов проекта с мэрами Тель-Авива и Иерусалима, ректорами столичных университетов, учредителями благотворительных фондов, женой президента Израиля и прочая, прочая, прочая, и несть им числа...

И средства – что бы вы думали? – были получены!

По порядку: от иерусалимского муниципалитета, из христианского фонда «От Единого Бога к единой религии», из богатейшего фонда «Наружный», учрежденного вдовой одноименного покойного адвоката.

Приличный кусок преподнес фонд общества секс-меньшинств – «Обнимитесь, миллионы!» – с условием, что в будущем с отстающими (но к тому времени подтянувшимися) учениками Центра учредители данного симпатичного фонда проведут ряд гуманитарных встреч.

Сашка Рабинович, человек, между прочим, религиозный, мрачно заметил на это, что Тора велит побивать камнями учредителей подобного гуманитарного фонда. На что Ангел-Рая нежно проговорила – успеется...

(В дальнейшем Сашка смирился с этим источником дохода и, составляя смету на очередной проект, только мрачно осведомлялся у Ангел-Раи: «А пидорасы дадут?» или директивно: «Выколотить из пидорасов!»...)

Так что сработали кое-какие письма и телеграммы.

И даже из личного фонда Папы Римского на дело помощи нерадивым ученикам было выделено 500 долларов. А с этого типа (которого Ангел-Рая втайне считала конкурирующей фирмой), как известно, нелегко слупить копейку.

Словом, дело пошло. Отстающие ученики повалили валом. В доме Рабиновича, которого посадили на честно заслуженную им ставку куратора, не умолкал телефон.

– Черт знает что! – говорил он, записывая данные очередного балбеса и довольно потирая руки. – Откуда среди еврейских детей столько двоечников?!

Попутно были трудоустроены толпы безработных пожилых учителей, в прошлом – грозных Абрамсолмонычей и Ефимевсеичей, легендарных преподавателей московских и ленинградских спецшкол. Стоит ли говорить, что в скором времени отстающие ученики стали получать призовые места на всеизраильских физико-математических олимпиадах...

Сашка Рабинович уже задумывался о создании (конечно же, под эгидой Ангел-Раи) Международной актерской школы, куда слетался бы на мастер-классы цвет мирового театра. Уже прошли предварительные встречи со знаменитым московским режиссером, живущим ныне в Иерусалиме, живой легендой, идолом советских театралов, гривастым львом с изумительной красоты резным крестом на распахнутой старой груди...

Уже завязывались планы приглашения к нам Клода Лелуша, Питера Брука, да и Бежара, чем черт не шутит...

И тут произошло...

И вдруг...

Внезапно...

Умерла Ангел-Рая.

Это было так неожиданно и так страшно, что лишь сейчас, спустя три года после описываемых событий, русская община Иерусалима начинает оправляться от перенесенного ею горя.

Началось все вполне банально. На фоне вялотекущего гриппа Ангел-Рая подхватила вирус инфекционного менингита. Придя с работы (из библиотеки Духовного Центра, где проходили очередные поэтические чтения на тему «О Родина!»), она сказала мужу – интеллигентному и молчаливому инспектору транспортной полиции:

– Васенька, я умираю...

Она плыла и заговаривалась. Мужа на самом деле звали Фимой.

Безгранично преданный ей муж бросился на кухню – за водой. Когда он вернулся, Ангел-Рая сидела на полу, странно подогнув ноги и руки, поминутно теряла сознание и несла чепуху.

Перепуганный муж погрузил ее в машину и повез в приемный покой одной из крупнейших клиник Иерусалима.

Повторяю: ситуация банальная и для местных специалистов плевая. Не о чем говорить. В России, конечно, Ангел-Рая бы умерла.

Но израильская медицина, как известно, – одна из лучших в мире. Ее достижения давно перешагнули самые фантастические рубежи. Здесь оплодотворяют пожилых женщин, бесплодных, как пустыня. Впрочем, и пустыню здесь заставляют плодоносить, как цветущую женщину. (Что касается оплодотворения пожилых, и даже весьма пожилых, женщин, то в еврейской истории подобные случаи уже были.)

Недоношенный пятимесячный плод здесь не выбрасывают в ведро, а помещают в инкубатор и доращивают на радость обществу. Глядишь – со временем из такого выкидыша вырастет Эйнштейн. Ну, может, не Эйнштейн, может, чиновник Сохнута, сука, мошенник и казнокрад – а все равно приятно!

Да что там! Здесь заменяют человеку все органы на новенькие, прочищают (как вантузом – канализационную трубу) вены, артерии и мельчайшие сосуды, меняют клапаны сердца... в общем, об этом уже неинтересно упоминать, об этом даже юмористы писали.

Словом, израильская медицина грандиозна. Просто ее не интересуют живые люди со всякой их ерундой, вроде гриппа, дифтерита, чумы или холеры. Здешним специалистам интересно оживить труп, причем желательно лежалый. Тогда на него накинута и силами лучшей в мире медицины воскресят из мертвых. Впрочем, и это в нашей истории уже было.

Так вот, Фима, муж, инспектор транспортной полиции, выгрузив беспмятную Ангел-Раю в приемном покое, стал бегать, хватая врачей за развевающие халаты, преданно заглядывая в глаза каждому санитару и наглецу-практиканту. Часа через полтора к Ангел-Рае подошли, вкололи один из чудодейственных жаропонижающих препаратов (см. достижения израильской фармакологии), сбили температуру и велели убираться домой и больше не соваться с пустячным гриппом в серьезные лечебные учреждения.

– Как – домой?! – пролепетал потрясенный Фима. – Она ж продолжает меня Васей называть...

Но из-за природной мягкости характера вынужден был подчиниться и увезти Ангел-Раю домой. Повторим: в России при подобных обстоятельствах она бы как пить дать умерла...

Уже на рассвете «амбуланс» с телом Ангел-Раи мчался по разделительной полосе, характерно и страшно завывая. Похоже было на то, что Ангел-Рая и в Израиле ухитрилась умереть. Над нею распростерся белый и неменяемый муж, инспектор транспортной полиции.

Он вбежал в приемный покой вслед за носилками с телом жены и, выхватив табельное оружие, закричал, что лично и немедленно перестреляет сейчас всех проклятых жидов, врачей-вредителей. Возможно, его покойная жена не на пустом месте заговаривалась.

Инспектору что-то вкололи, уложили на кушетку, и он затих. А тело Ангел-Раи уволокли в Святая Святых. Над ним сгрудились специалисты высочайшего класса. Чуть ли не с трапа самолета был снят улетающий в отпуск на Канарские острова ведущий хирург клиники. Лучший анестезиолог не ушел домой после суточного дежурства.

Это была настоящая работа. Труднейшая, почти невыполнимая задача. Истинное и высокое искусство...

В это время обезумевшая от горя, осиротевшая русская община клокотала и билась, угрожая выплеснуться за края правопорядка. Поговаривали о сидячей демонстрации перед кнессетом. Поэт Гриша Сапожников разбил палатку перед Дворцом правосудия и начал голодовку протеста. К своему постоянному плакату «Я не ем уже тринадцать суток» он добавил плакат: «К ответу преступных эскулапов!»

Самые разные люди готовы были бежать и сдавать для Ангел-Раи свою кровь, костный мозг, почки и легкие. У Стены Плача, ни на минуту не прекращая вымаливать у Всевышнего жизнь для этой женщины, сменяли друг друга представители религиозных слоев русской общины. Раввин Иешуа Пархомовский в субботней проповеди заявил, что, в случае невозвращения Ангел-Раи в этот мир, следует ходатайствовать перед президентом Израиля об объявлении по стране недели национального траура.

Да что там говорить! Ангел-Раю все любили.

Ее любили даже жертвы ее интриг.

Спустя несколько дней после кончины Ангел-Раи, Сашке Рабиновичу удалось прорваться к ней в палату.

То, что он увидел (пишут в таких случаях), повергло его в смятение.

Сквозь частокол штативов, окружающих койку, Сашка разглядел распластанное и накрытое простыней тело. К нему вели множество проводов, проводков и проводочков, даже из ноздри проволока торчала.

Череп Ангел-Раи был обрит, желтоватое лицо скособочено самым окаменелым образом, рот не отцентрован. Она была мертва.

Сгорбившись, сидел Рабинович на стуле, свесив кисти рук между колен. Его трясло.

– С-са... – вдруг слабо донеслось из кривого неподвижного рта. – Н-ну... к те... усе... ни... ки... хо... зят?

– Ходят! – выпалил Сашка, вздрогнув от неожиданности: мертвое тело издавало звуки.

– Ты... рас-сы... сание... са-са... вил?

– Составил! – подтвердил Сашка, подобострастно тараща глаза на бритую мумию Ангел-Раи. И вдруг заплакал от умиления...

Когда дежурный врач стал гнать его в шею, Сашка спросил:

– Скажи – она будет жить?

Тот оглянулся на частокол штативов и озадаченно потер пальцем переносицу:

– А что... – пробормотал он. – Весьма возможно...

Спустя месяц абсолютно седой и обезумевший муж Фима забрал домой косую, глухую и полупарализованную Ангел-Раю.

Он пил на кухне водку и молча вытирал ладонью сбегающие к подбородку слезы. Время от времени из спальни раздавалось жалобное: «Ва-сень-ка!» – и он бежал: поднять, посадить, перевернуть, переодеть...

Что там долго рассказывать! Жалкие останки бесподобной женщины были брошены на руки русской общины. Стало очевидным, что услугами этой израильской медицины пусть пользуются наши враги. Спасения следовало ждать только от своих.

И за Ангел-Раю взялись свои...

Альтернативщики – травники, гомеопаты, иглоукальыватели, суггестологи, массажисты и экстрасенсы буквально не давали ей дух перевести. Один из «своих», специально для этого смотавшись в Москву, привез загадочный биокорректор – круглый талисман, содержащий в себе сплав из шестидесяти видов минералов, металлов и водорослей – последний писк суггестологии. Талисман требовалось носить меж грудей, он спрямлял биополе.

Другой торжественно принес и вручил инспектору транспортной полиции хрен моржовый – довольно крупный экземпляр, сантиметров в шестьдесят – действительно, как выяснилось, существующий в природе, и действительно, как это ни странно, представляющий собой кость. Хрен моржовый, подаренный неким шаманом в арктической экспедиции (его владельцу? как это сказать без неприятной в нашем случае двусмысленности?), – следовало повесить над кроватью. Он тоже на что-то страшно благотворно влиял и что-то мощно спрямлял...

И наконец в один прекрасный вечер (довольно занудный «Вечер взаимодействия двух культур») из подъехавшей к Духовному Центру машины вышла прелестная – на сей раз медного оттенка – рыжеволосая женщина и величавой походкой поднялась по ступеням в зал.

На ней было умопомрачительное, простого – якобы – покроя лиловое платье (из той материи, что по двести сорок шекелей за метр). К тонкой талии, как тяжелый маятник, был подвешен зад, совершавший мерные плавные раскачивания. Из обнаженного плеча полным ручьем выбегала холеная белая рука с единственным, но платиновым браслетом и одиноким, но крупным сапфиром на пальчике.

Позади, как всегда – в тени ее великолепия – поднимался молчаливый инспектор транспортной полиции. Все – от невесомого лилового белья и лиловых туфель-плетеночек до соответствующей сумочки и искрометных аметистовых клипс – было куплено им накануне в самых дорогих магазинах. Для этого он взломал один из своих пенсионных фондов.

Веселись ныне и радуйся, Сионе!

Опустим, пожалуй, живописание восторга очарованной коленопреклоненной толпы прихожан Духовного Центра. Папе Римскому, на престольные праздники выходящему к своей благоговеющей пастве, ничего подобного не снилось.

Она по-прежнему помнила все, что когда-то кому-то говорила. Помнила интимные подробности жизни, поведенные ей за пьянкой в порыве откровенности. Помнила домашние клички отпрысков всех своих знакомых и друзей, а также имена их собак, кошек, попугаев. Помнила породы рыбок в их аквариумах. Не говоря уже о номерах телефонов, о диагнозах, поставленных когда-то чьей-то теще, бабушке, свекрови... Ну, прекратим, пожалуй, этот бесконечный перечень: она помнила и знала все.

Ее государственный ум по-прежнему намечал и раскручивал грандиозные планы. В ближайшие пять месяцев она предполагала осуществить три культурных проекта – один всеизраильский и два международных...

Сашка Рабинович сиял. Он был нешуточно горд: это он благовестил – она вновь будет жить среди нас!

Словом, все было прекрасно. И все было как прежде. Кроме одного пустякового осложнения: Ангел-Рая продолжала называть Фиму Васенькой. На скорбные его вопросы только сухо обронила – мол, так нужно. Вероятно, там, где она побывала, ей что-то сказали.

Ну, Вася так Вася... Фима смирился. Лишь бы она была жива и здорова – ангел, ангел нечеловеческой доброты и радости!..

7

Сотрудники радиостанции «Русский голос» происходили из разных мест, разных республик бывшего Советского Союза. В той жизни занимались, как правило, совершенно другим делом, так что это был русский голос с довольно-таки сильным акцентом.

Среди акцентов преобладали украинский и азербайджанский. Первый придавал передачам «Русского голоса» ненавязчивую домашность, второй добавлял к этой домашности оттенок кавказского гостеприимства.

Новые репатрианты любили свое русское радио, пенсионеры – те вообще не выключали приемников, ласково называли ведущих программ интимно усеченными именами и много и охотно звонили, чтобы выразить свое мнение по разнообразным вопросам. Их не смущала тема передачи – они разбирались и в политике и в экономике, в науке и в искусствах... словом, не сегодня сказано, что каждый еврей всегда имеет свое особое мнение по каждому вопросу.

У нас поэтому невозможен культ личности.

У нас на такую личность всегда найдется кое-кто поличностнее.

Ведущие передач, в свою очередь, охотно откликались на звонки радиослушателей, подбодряли их или журили, терпеливо объясняя – почему высказанное мнение неверно (ведущие ведь тоже были евреями). Случались и перепалки в свободном эфире.

Нетрудно предположить, что особой популярностью пользовалась передача «Скажем прямо!». Вел ее Вергилий бар-Иона, в прошлой жизни – Гена Коваль, уроженец города Газли, страстный филолог с азербайджанским акцентом, приверженец русской классической поэзии. Комментировал он и последние политические события, неизменно начиная и заканчивая комментарий цитатами из классиков.

– Белеет парус одинокий, как метко выразился однажды выдающийся поэт, в тумане моря галубом... – начинал свой комментарий новостей Вергилий. – Адиноким выглядел вчера министр иностранных дел Израиля в тумане засиданья Совета Безопасности Организации Абъединенных Наций...

Или:

– Ни пой, красавица, при мне, ты песен, – как точно выразился аднажды классик. Напрасно президент Сирии Асад аправергает сваю связь с терраристами из «Хизбаллы». Миравая абщественнасть этим песням уже не верит...

Словом, если, комментируя последние политические события, Вергилий несколько злоупотреблял своими глубокими познаниями в поэзии, то в передаче «Скажем прямо!» он был прост и задушевен. Терпеливо выслушивал каждого, кто сумел ворваться в эфир, советовал, поправлял, если что не так. Тем более бывало обидно, когда ему доставалось: прямой эфир, как вы понимаете, не исключает неожиданностей.

Такое случалось, когда в передачу вламывался грубый «ватик» – старожил, патриот, старина-резервист Армии Оборона Израиля, почти всегда противопоставляющий себя новым наглецам.

Идет, скажем, очередная передача, посвященная юридическим аспектам жизни репатриантов. В студию приглашены некий адвокат и некий политический деятель, представитель общественной организации «Кворум», призванной защищать права новых репатриантов. Звонят на студию радиослушатели, доверчиво задают вопросы, испрашивают советов – как толково и грамотно вести себя с местными уроженцами в тех или иных спорных ситуациях, когда сильно хочется в рожу дать... В атмосфере полной идиллии и юридического единения сердец обсуждаются способы давления на правительство, условия для создания русского лобби в кнессете и прочие, весьма увлекательные перспективы.

– Итак, продолжаем передачу, – говорит приветливо Вергилий. – Слово очередному нашему радиослушателю. – И включает прямой эфир. И в этот нежный эфир, буквально вибрирующий от флюидов душевного расположения и взаимной приязни, врывается нечто совершенно непозволительное:

– Я хочу, чтоб эти бляди замолчали навсегда! – четырехстопным хореем рывкает невидимый оппонент.

И пока длится легкое замешательство и ведущий обескураженно покашливает, тот переходит на прозу:

– Мы здесь холодали и голодали, мы воевали и ничего не требовали! А эти бляди советские, чтоб они сдохли, вчера приехали, и тут же подай им, понимаешь, все права и хер на блюде!

– Ваша точка зрения... э... э... – торопливо и заискивающе бормочет Вергилий, – условно заслуживает внимания...

– И ты умолкни, блядь такая!

Так что Вергилию доставалось. И доставалось за весьма небольшую, можно сказать – мизерную, зарплату.

Платили сотрудникам «Русского голоса» унижительные копейки, и примерно раз в полгода дирекция теле- и радиовещания распространяла леденящие кровь слухи о закрытии радиостанции «Русский голос», мотивируя это тем, что все большее число новых репатриантов постепенно переходит на чтение ивритских газет и слушание ивритского радио. До известной степени это было правдой. Но правдой также было и то, что израильский истеблишмент крепко побаивался культурной русской экспансии.

Тогда на очередную демонстрацию перед резиденцией премьер-министра выходили несколько тысяч пенсионеров. Бряцая медалями и орденами, полученными за победу над гитлеровской Германией, они разворачивали огромные плакаты, на которых метровыми буквами было написано: «Мы еще живы!» и «Руки прочь от радиостанции „Русский голос“!».

Неподалеку, в тени платанов, белела уютная палатка голодающего поэта Гриши Сапожникова.

Над ней висел плакат: «Я не ем уже тринадцать суток!», что, кстати, могло быть и чистой правдой. Как многим алкоголикам, Грише есть было необязательно. Он сидел в палатке с откинутым входом, приветливо шутил и наливал каждому, кто заглянет.

(Его горячий общественный темперамент не позволял ему стоять в стороне от событий. Причем от любых событий. Гриша разбивал палатку голодающего не только по тем или иным возмутительным поводам, которых, конечно же, в нашей действительности предостаточно. Он расставлял ее в дни прохождения демонстраций протеста, солидарности, подтверждения верности принципам; по датам национальных и религиозных праздников; в декаду проведения международной книжной ярмарки; в дни выступлений в кнессете лесбиянок и гомосексуалистов. Особенно жарко полыхало в Гришиной груди чувство социальной справедливости, когда у него нечем было опохмелиться, тогда палатка под платанами белела особенно зазывно и сиротливо, а друзья советовали дополнить надпись на плакате, в смысле – «и не пью!»).

Гриша разбивал палатку голодающего и в том случае, когда опаздывал на последний автобус. Тогда он добредал до Парка Роз, что украшает площадь перед Дворцом правосудия, вскарабкивался на мощный ствол старого платана, отыскивал среди ветвей скатанную в рулон палатку, сноровисто устанавливал ее и, вывесив плакат: «Я не ем уже тринадцать суток!», заваливался до утра спать.)

Затем следовало несколько публичных выступлений официальных представителей «Кворума».

(Не объяснить ли попутно – что это за мощная структура, не живописать ли размах деятельности этого государства в государстве, не перечислить ли невероятное количество дочерних отделений «Кворума» в больших, незаметных и вовсе уж микроскопических населенных пунктах страны, не привести ли цифры годового оборота средств, хлещущих, как из брандсбойта, из карманов всевозможных благотворительных фондов и отдельных сентиментальных американских миллионеров, которым зачем-то хочется, чтобы на эту землю ехал и ехал российский еврей?)

Да нет, не стоит, а то, глядишь, неприятное наше «повествование вприпрыжку и в посвист» затянется на годы и из скромного романа превратится в сагу.

Кстати, неуместное на первый взгляд иностранное название этого уникального общественного организма смущало многих евреев.

А что делать? – возражали им резонно, не назовешь ведь нашу мать-кормилицу-заступницу кнессетом. Какой-никакой, а кнессет в стране уже есть, чтоб он сторел со всеми его депутатами, да и тот в переводе с иврита на русский означает не Бог весть что, а просто «собрание».

С другой стороны – чего нам на римлян-то оглядываться? Где они, эти римляне? В гробу мы их видали вот уже много сотен лет.)

Так что за рядом организованных «Кворумом» демонстраций следовало несколько официальных заявлений вождей русской общины, затем – два-три специальных заседания комиссии кнессета по культуре, и... на очередные полгода русскому радиовещанию отпустились жалкие гроши, больше похожие на подаяние, чем на государственные дотации.

И вновь Вергилий с сильным акцентом цитировал русскую классику, а Сема Бампер на халяву допрашивал в студии интересных людей, и известный рав, активный деятель последней волны религиозного возрождения, комментировал Тору в передаче «Национальный орган», и две радиожурналистки с голосами кассирш винницкого гастронома попеременно вели передачи «Старожилы не упомнят» и «Поэзия еврейского сердца»...

8

Она дождалась, когда пенка подойдет еще разок, сняла джезvu с огня и перелила кофе в чашку. Не торопясь, отлинула от толстой рукописи воспоминаний старого лагерника несколько страничек, зажала их под мышкой, в правую руку взяла приземистую облупленную табуретку, в левую – чашку с кофе.

– Кондрат!

Из-за асбестовой перегородки вылетел пес, тормознул, молотя хвостом, уже зная и радостно предвкушая следующие слова.

Испытывая его терпение, она выждала еще секунду и наконец, строго на него глядя, проговорила:

– А не-прошвыр-нуть-ся ли нам?

Он взвизгнул, подпрыгнул, схватил зубами маленький домашний тапочек, брошенный у порога Мелочью, и пошел его трепать, грозно рыча. Он знал это веселое слово. Он вообще много слов знал.

Она распахнула ногой дверь «каравана», и пес кубарем вылетел наружу. Вслед за ним, боясь расплескать кофе, по трем ступенькам железной лесенки осторожно спустилась Зяма.

На асфальтовой дорожке стояло раскладное кресло с провисшими ремнями сиденья. Перед «караваном» дорожка обрывалась – тут, собственно, и проходила необозначенная граница поселения Неве-Эфраим.

Она поставила табурет, хлопнула на него рукопись и с чашкой в руке опустилась в кресло.

Перед ней, уже до краев заполненная солнцем, лежала расчищенная от валунов и окаймленная двумя рядами олив долина. В глубине ее теснили и сжимали в ущелье опоясанные террасами старые ржавые холмы Самарии, а над ними в молодом родниковом небе текли желтые отдели облаков.

Метрах в двухстах от Зяминога вагончика бугрился курган остатками каменных стен времен Османской империи.

Зато, если перевалить через курган, можно побродить, спотыкаясь и балансируя руками, по раскопанным стенам города Ай. Израильтяне взяли его вторым – после Иерихо, – когда вернулись в эту землю, текущую молоком и медом. Так написано в ТАНАХе.

До сих пор кроты выталкивают на поверхность земли обесцвеченные временем и почвой кубики – крошево мозаичных полов и настенных панно, что украшали когда-то строения Шомрона, Самарии – цветущего края.

Во всех карманах Зяминой одежды валялись эти матовые кубики, похожие на кости для игры в «шешбеш». Их было приятно и странно перебирать в кармане, гладить пальцем шероховатую грань, согревать и думать, что тысячелетия назад они были вытесаны теплыми и чуткими руками предка-мастероваго все из той же породы местного известняка, который и сейчас используют здесь для строительства.

Остатки древних стен, микву и маслодаильню с двумя огромными каменными жерновами каждое лето копает парочка поджарых американских археологов-пенсионеров.

Совет поселения выделил им, по соседству с Зяминым, «караван», и эти, всегда приветливые летние старички, в нахлобученных белых панамах, с утра до захода солнца копают в свое удовольствие, так напоминающее тяжелый изматывающий труд.

– Ты слышишь, – сказала она псу, – это верная мысль: настоящее удовольствие должно очень напоминать тяжелый изматывающий труд. Ведь и в любви так?

Кондрат гонял вокруг «каравана», поминутно подбегая к краю дорожки, за которым громоздились желтые валуны, росла трава, покачивался на ветру путаный сухой кустарник, оглядываясь на хозяйку и не решаясь нарушить запрет.

– Не ходи туда, – сказала ему Зяма негромко. – Там может быть змея. Или скорпион.

Его жалил уже яростный майский скорпион (сто шекелей за визит к ветеринару да еще тридцать за лекарство), он знал и это слово. И все-таки забежал немного вперед, в траву.

Нравом этот пес обладал независимым и склочным. Трехнедельным щенком его по недоразумению приволокла соседская девочка. В почтенном семействе ее учительницы-американки оценилась любимая сука. Одного из трех щенков – белого, мохнатого, с черными, словно на прибор расчесанными ушами, назвали Конрад.

– Ты что! – ахнула Зяма, увидев эту мохнатую плюшку на протянутых ладонях соседки. – Куда нам собаку – в «караван»!

– Так ваша же дочка вчера выпросила, – расстроилась девочка. – Я его из Иерусалима за пазухой везла. Ну гляньте, какой он мотэк!

Щенок смотрел на Зяму из-под спадающего мохнатого уха бешеным глазом казачьего есаула.

– Ну ты, антисемит! – Зяма потрепала щенка по сбитой набекрень папaxe. Он прихватил зубами ее палец и тут же принялся суетливо зализывать. Вообще, всячески подчеркивал судьбоносность момента. Морда у него была продувная; фас – чванного купца, профиль – ухмылка интеллектуала-шулера, нос – из черного дермантина.

Обнаружилось, что гладить щенка необыкновенно приятно. Рука сама тянулась к этому живому мохнатому теплу, к этому комочку с таким одушевленным взглядом. Мелочь стояла рядом и тихо, безутешно голосила.

– Ты считаешь, что он для нас достаточно сюськоватый? – строго спросила ее мать. Мелочь взвыла в предвкушении падения твердыни.

– Как его? Конрад? Ну, мы люди простые. Будешь Кондрашка, Кондрашук...

Соседка с облегчением вздохнула и вывалила щенка прямо в подставленный подол платишка новой его хозяйки – Мелочи.

– Построим тебе будку, – пообещала Зяма, – назначим сторожевым псом. Будешь при деле.

Оказалось – пустые мечты. Назначить его никем не удалось – он сам назначал себе занятия и цели, которых, кстати, планомерно и неустанно достигал. Оказался величайшим бездельником и созерцателем. Был необыкновенно, пронизательно и даже пугающе умен. Очеловечился до безобразия, весьма скоро выучился по-русски, да и на иврите с Мелочью мог поддержать беседу. Понимал не только слова и фразы, но и намерения, и движения души, и когда случалось настроение – участвовал в разговоре различными, довольно внятыми, междометиями. Ел он, конечно, когда и что хотел. Спал, конечно, где душа пожелает (собачьи коврики и подстилки, предложенные ему поначалу, были со страшным презрением оттрепаны и вышвырнуты за дверь).

Когда пришло время делать щенку прививки, выяснилось, что он – чистокровный тибетский терьер, порода умнейшая, собака тибетских монахов. Привыкла быть при человеке, рядом. Словом, он сразу потребовал к себе уважения.

Впоследствии обнаружилось, что этот пес на все имел свое мнение и не собирался держать его при себе.

С каждым из домашних он придерживался особой линии отношений – к отцу подходил с почтительным достоинством, как дипломат небольшого, но достаточно независимого государства, с Мелочью постоянно соперничал и выяснял отношения, иногда прикусывал, не позволяя ей фамильярничать. А Зяму обожал испуленно, страшно ревновал к отцу, поминутно лез к ней с поцелуями и по-настоящему страдал, когда эти двое по вечерам выстав-

ляли его из комнаты и запирали дверь. Тогда, развесив уши, он слонялся, как потерянный, и короткими стонущими вздохами задавал себе вопрос: ну чем, чем можно заниматься там без меня и что ему от нее надо?!

Когда отец возвращался домой после ночного дежурства, щенок, дрожа от охотничьего восторга, ждал, когда тот разуется и снимет носки. Тогда с алчным урчанием он хватал носок и весь вечер слонялся с ним в зубах по «каравану», ревниво и грозно огрызаясь, если кто-то из домашних пытался отнять у него его богатство. Во всей его походке так и читалось: и мы тоже не лыком шиты, и у нас, между прочим, кой-какое имущество имеется...

– ...Ну-ка, поди сюда! – строго проговорила Зяма. Он внимательно наблюдал из травы за ее реакцией: выжидал, выводил из себя.

– Ах так... – сказала она, делая вид, что обиделась. – Ну, как хочешь. Только потом не прибегай с жалобами.

Тогда он примчался, вспрыгнул к ней на колени, норовя лизнуть ее прямо в губы. Она уворачивалась.

– Кофе же, дурак, кофе расплескаешь! Наконец он свалился у ее ног, вытянулся в тени от кресла.

– Для чего я тебя держу? – сурово спросила его Зяма. – Для охраны или для душевной прелести?

Несколько минут они молчали, пока Зяма бегло просматривала воспоминания бывшего лагерника.

– Ну ладно, дадим три отрывка, страниц по шесть, – сказала она псу. – Подкормим доходягу.

– А ты почему опять нагадил на участке Наоми Шиндлер? – вдруг вспомнила она и возмутилась. – Мало тебе вокруг подходящих отхожих мест?

Кондрат, лениво подняв голову, смотрел на нее наглым лаковым глазом.

– Ну? – громко зевнув, спросил он.

– Я тебе дам «ну»! Попробуй-ка еще раз насрать в цивилильном месте!

Он ахнул и бессильно уронил башку, и завалился на бок. Демонстрировал обморок: «сил нет слушать ваши непристойности»...

Затем правили очередной отрывок из «Иудейской войны» Иосифа Флавия, которая давно и безобразно была переведена с немецкого, с сохранением буквальных речевых оборотов немецкого языка.

«Так он добрался к самаритянину Антипатру, управлявшему домом Антипатра. Подвергнутый пыткам, он признался в следующем: Антипатр поручил одному из своих близких друзей, Антифилу, доставить из Египта смертельный яд для царя; Антифил вручил яд дяде Антипатра, Феодиону; этот передал его в руки Ферору, которому Антипатр предложил отравить Ирода в то время, когда он сам будет находиться вне пределов подозрения – в Риме, а Ферор отдал яд на сохранение своей жене».

– Милые все люди, – проговорила Зяма.

Она не любила Флавия. Ни самого этого липового полководца, который сдал римлянам прекрасно укрепленную Иотапату и развалил всю оборону Галилеи, а затем переметнулся на сторону всемогущего врага, ни его лицемерные свидетельства, за которые Веспасиан наградил его землями, почетом да и деньгами. Зяма не любила и презирала этого умницу из славного священнического рода Матитьягу – рода, освободившего когда-то Иудею от греко-римских шакалов, – за то еще, что взял себе имя римских императоров, за то, что забыл умереть во славу предков, за то, что отдал сердце свое большому городу Риму...

Словом, Зяма не любила древнееврейского историка Иосифа Флавия приблизительно за то же, за что не любила в России своих крестившихся соплеменников.

Подготавливая к печати очередную главу, Зяма каждый раз язвительно возбуждалась, читала вслух и комментировала некоторые места, казавшиеся ей особенно вопиющими. При этом она называла давно умершего, славного античного историка Флавия нелицеприятными словами.

– Ага! Вот что мне нравится: его скромное упоминание о себе в третьем лице, вроде «всесторонние таланты Иосифа не могли остаться незамеченными». Слушай, Кондрашук, как эта сука описывает Иоанна Гисхальского: «В то время, когда Иосиф правил Галилеей, против него объявился противник в лице сына Леви, Иоанна из Гисхалы – пронырливейшего и коварнейшего из влиятельных людей, который в гнусности не имел себе подобного». (Ну да – противник же...) «Он всегда был готов солгать, и в совершенстве владел искусством делать свою ложь правдоподобной. Он притворялся человеколюбивым, но в действительности был до крайности кровожаден...» Ни одного примера, обрати внимание... Наверняка брешет, скотина. Зато, забыв о кровожадности Иоанна, уже через три страницы хвастается своей удалью, этот миротворец. Слушай: «Против них Иосиф опять употребил другую хитрость. Он взшел на крышу, дал знак рукой, чтобы они замолчали, и сказал: „Я, собственно, не знаю, в чем состоит ваше желание, ибо я вас не могу понять, когда вы все вместе кричите. Но я готов сделать все, что от меня потребуют, если вы нескольких из своей среды пошлете ко мне в дом для того, чтобы я мог спокойно объясниться с ними“. По этому предложению к нему зашли знатнейшие из них вместе с зачинщиками. Иосиф приказал потащить в самый отдаленный угол его дома и при закрытых дверях бичевать их до тех пор, пока не обнажатся их внутренности. Толпа в это время стояла на улице и полагала, что продолжительные переговоры так долго задерживают депутатов. Иосиф же велел распахнуть двери и выбросить вон на улицу обгаренных кровью людей...»

– Ну! Не милашка ли? Парламентеров, а?! Вот гад! «Пока не обнажатся их внутренности», а?! Но зато Иоанн Гисхальский – «до крайности кровожаден». А вот еще дивная у этого мерзавца история с гражданами Тивериады.

«Так как остальные громогласно указывали на некоего Клита как на главного зачинщика отпадения, то он, решив никого не наказывать смертью, послал одного из своих телохранителей, Леви, с приказанием отрубить тому обе руки...» (добрейшая душа!). «Но Леви из боязни перед массой врагов не хотел идти сам один. Клит же, видя, как Иосиф, полный негодования, сам, стоя в лодке, порывается вперед, чтобы лично исполнить наказание, начал умолять с берега, чтобы хоть одну руку оставил ему. Иосиф удовлетворил его просьбу, с тем чтобы он сам отрубил себе одну из рук. И действительно, тот правой рукой поднял свой меч и отсек себе левую – так велик был его страх перед Иосифом».

И минут двадцать еще, выправляя дубовые германизмы в переводе, Зяма ахала, повторяла фразу вслух, качала головой и, призывая лежащего рядом пса в слушатели, называла своего предка, великого античного историка Иосифа Флавия негодяем, изменником и римской подстилкой. И если учесть, что имя бен Матитьягу было проклято по всей земле Израиля, можно легко вообразить, что эти опоясанные террасами серые курганы, эта долинка, эти замшелые камни и молодое родниковое небо над Самарией много веков назад уже слышали те же слова, произнесенные по тому же адресу, но только на другом языке...

Потом они с Кондрашей перехватили бутерброд с колбасой. Стоя на задних лапах и положив передние ей на колени, он требовал кусок за куском, а если она медлила, протягивал лапу и теребил ее руку.

– Ты сожрал больше половины, – сказала ему Зяма, отряхивая крошки с юбки, – впрочем, ни для кого не секрет, что ты наглец и проходимец... Жаль, что я не назвала тебя Флавием!

Настроение по-прежнему было хорошим, хотя она уже несколько раз вспоминала, что ближе к вечеру надо ехать. Но сейчас еще время лишь восходило к двенадцати, здесь, в тени

«каравана», шлялся тихий ветерок, поддувая лепестки красных, похожих на маки, горных цветов, что на днях показались из-под серых валунов.

Метрах в ста от нее по долинке, обрамленной оливами, шел пастух за стадом коз. Звякали колокольцы. Пастух, высокий старик в белой куфие, перетянутой двойным шнуром, и в серой, до пят, галабие, – не смотрел в сторону «караванов», как будто этого не было, как будто не стояли на этой земле ни вагончики, ни – выше, на горе, – полукруглый ряд вилл, ни коттеджи, ни школа, ни водонапорная башня с магазином.

Кондрат вскочил и залаял, забегал вдоль дорожки, оглядываясь на Зяму, спрашивая: дать им, как следует, или не стоит?

– Не стоит, – сказала ему Зяма. – Поди сюда, не мельтеши. Это просто пастух гонит стадо коз...

То и дело старик палкой подправлял полубег какой-нибудь козочки. Бренча колокольцами, те обедали по пути кустики и были – издали – очень милы: буколическая картинка, сельский пейзаж.

– Вот так они съели всю страну, эти их козы, – сказала Зяма Кондрату, – пока здесь не было хозяев...

– А ведь он мог бы сейчас меня убить? – задумчиво спросила она пса. – Теоретически? Выхватить из-за пазухи своей рубахи пистолет, а? И пристрелить... Теоретически – да. Он вовсе не так стар, а оружием наводнены и Иудея и Самария... А что, Кондрашук, ведь это ему – как чихнуть раз. Мужчин наших сейчас нет, разве что Арье в своей лавочке, да от него какой толк... Два-три солдатика у ворот – до них отсюда не докричишься, да и не успеют добежать... Ей-богу, странные люди эти арабы... Нет, конечно, потом наши спустились бы в Рамаллу и переколотили все окна, и перевернули бы все машины, их бы усмиряла наша доблестная армия. Потом наши основали бы где-то поблизости новое поселение: Неве-Зяма, или Гиват-Зяма, или Кфар-Зяма... Да что там! – почету мне было бы навалом... И евреи – странные люди, Кондрашук... Вообще, с людьми, согласись, не все в порядке...

Пока пастух перегонял мимо «караванов» свое стадо, пес стоял рядом с хозяйкой, дрожа от возбуждения и полаявая – вероятно, оскорблял большую пастушью собаку, рыжую, короткошерстую и молчаливую...

– А я могла бы его убить? – спросила вдруг женщина сама себя. И самой себе ответила твердо: – Да. Теоретически...

Тень уже поджималась к сваям вагончика, вот-вот нырнет под него и вынырнет по другую сторону. Солнце палило дорожку, выметая над нею бабочек и мух. Гудение пчел стало тихим и сонным.

Зяма захлопнула «Иудейскую войну», поднялась и занесла в вагончик табурет.

– Ну, – сказала она, надевая соломенную шляпу. – Надо и честь знать. Вспомним долг матери семейства.

И они стали подниматься в гору под палящим солнцем, то и дело останавливаясь, вываливая языки и шумно дыша...

В лавке Арье гудел кондиционер и было необычно многолюдно для середины дня, целых три человека. Солдат, строительный подрядчик Шрага (в поселении медленно строился комплекс из нескольких двухэтажных домов. В зависимости от хода очередного этапа мирных переговоров правительство то замораживало все стройки в поселениях, то приоткрывало щелку) и постоянный рабочий Муса, араб из Рамаллы. Вид у него был крайне истощенный: не так давно закончился великий пост, мусульманский праздник Рамадан, и Муса еще не отъелся. Он стоял рядом со Шрагой, в пакетике у него отвисали картонная пачка с какао, булка и три помидора.

Все что-то оживленно обсуждали.

Зяма не застала начала разговора, так как минуты три уговаривала Кондрата подождать ее у входа. Арье не терпел собак в лавке.

– А что, Муса, – спрашивал Арье, – между собой твои жены-то не ругаются?

– Ругаются, – вздохнул Муса. – Все время ругаются.

Солдатик (он был здесь новеньким, во всяком случае, Зяма его не знала) уже заплатил за пачку сигарет, но не уходил, с любопытством прислушиваясь к разговору.

– Да на черта тебе две жены! – воскликнул Шрага.

– А зимой хорошо, – ответил араб, – тепло между ними...

И мужчины расхохотались...

Зяма взяла тележку и покатила ее в глубь магазина, к холодильникам. Ей многое нужно было купить.

Когда она подкатила полную тележку к кассе, Арье уже был один, сидел на высоком круглом табурете и что-то считал на калькуляторе. В детстве, по-видимому, он перенес полиомиелит – у него были туловище нормального мужчины и несоразмерно короткие руки и ноги. Тем не менее Арье был женат на миловидной женщине по имени Малка.

Он стал считать Зямыны покупки, поминутно поднимая глаза от кассы на дверь, в солнечном проеме которой сидел, изнывая, пес.

– Смотри, – сказал Арье, продолжая считать, – у этого араба две жены и семнадцать детей. У меня всего одна жена. Сколько за свою жизнь я могу сделать детей? Пять. Ну семь. Потом: мы же всем хотим образование дать... – Он вздохнул, выбил чек. – Они говорят – демография. Вот тебе и демография.

– По-моему, он симпатичный, – сказала Зяма, – я его все время здесь вижу.

– Симпатичный, – согласился Арье. – Главное, спиной к нему не поворачивайся...

Кондрат уже ныл и переминался с лапы на лапу. Ему было жарко.

– Иду, иду... – сказала ему Зяма.

– Зьяма, ты разбираешься в русских? – спросил Арье.

– Немного.

– Тут один бешеный русский на днях пристал ко мне с этим... называется «Группенкайф»... Что это, не знаешь?

Она пожала плечами.

– Что-нибудь из секса?

– Не думаю, – сказала она. – Это препарат, таблетки. И порошок. Вроде из тибетских трав.

– Из каких?

– Из тибетских. Тех, что растут в горах Тибета.

– Тибет – это страна исхода твоей собаки? – спросил он подозрительно.

– Ммм... до известной степени... – сказала она, забирая с прилавка тяжелые сумки.

– Я б тебе дал тележку, но ты ее перевернешь под гору.

– Не надо, – сказала она, выходя. – Они не такие уж тяжелые.

– Зьяма, – окликнул он ее, – ты со своим псом говоришь по-русски или нормально?

– И так, и эдак, – сказала она. – Он владеет двумя языками...

Сумки были тяжелыми, но она все-таки сделала крюк до белого домика, который все называли «секретариат». Туда доставляли почту и расфасовывали ее по деревянным ячееккам. Сто двадцать три ячейки, по числу семей, живущих в поселении.

Она достала из номера девяносто девятого очередной «Информационный листок», написанный от руки крупным почерком и размноженный на ксероксе. Писем, к сожалению, не было. Счетов, к счастью, тоже. Не стоило делать крюк.

Дома она быстро начистила картошки, поставила кастрюлю на плиту и так же быстро перекинула на сковороде несколько отбивных. Готовила она всегда просто, быстро и вкусно. Голодными не держала никогда.

Минут через сорок из школы должна была явиться дочь – тоже отнюдь не покладистый человек, по кличке Мелочь. Она не выносила голода совсем, поэтому к ее приходу тарелка с дымящейся едой должна была уже стоять на столе, так, чтобы с порога за ложку, иногда даже минуя мытье рук, особенно если дома не было отца – врача и педанта. Сегодня в больнице у него было сдвоенное дежурство.

Между тем время подбиралось к двум, и скоро надо было ехать. Зяма уже с полчаса непрерывно об этом помнила.

В ожидании Мелочи они с Кондратом завалились на диван читать «Информационный листок», эту домашнюю стенгазету, которую Зяма всегда читала вслух и с выражением.

Для двенадцати русских семей его переводила с иврита Хана Коэн, это было ее добровольное участие в деле обихаживания новичков, многие из них еще не читали на иврите. Здесь это называлось «мицва» – понятие более объемное, чем просто «благое дело» или «долг». На русский это короткое слово следовало бы перевести так: «благой поступок, совершаемый по добровольному, но неотменяемому долгу души».

Русский язык Хана Коэн успела за двадцать лет не то чтобы забыть, но подогнать его под законы грамматики иврита; переводила она, в точности копируя обороты ивритской речи, и в этом смысле «Информационный листок» очень напоминал Зяме перевод «Иудейской войны» Иосифа Флавия, с той только разницей, что содержание «Листка» ей нравилось больше, чем сочинения блистательного ренегата.

– Так, – объявила она псу, – сначала, как в приличной передовой: попугать и пригрозить. «Решения комиссии „За безопасность поселения“:

а) По закону, все здоровые мужчины от 18 до 60 лет должны нести охрану Неве-Эфраима.

б) Дежурства должны быть распределены между всеми по справедливости...»

– Ты слышишь? – спросила она пса. – Опять справедливость. Вот евреи!

«в) Все, кто не вышел на стражу или не разбудил следующего за ним, получит двойное дежурство, и его имя будет опубликовано».

«Проверка оружия (исправность и чистота), в четверг, в 13. Для желающих почистить! У склада оружия (возле ясельков) будет с пятницы поставлена бочка с маслом для чистки».

«В понедельник в 10 состоится демонстрация протеста жителей Голан перед кнессетом. Просьба ко всем – присоединимся к братьям. На сей раз никто не может сказать: „Со мной это не случится“. Ибо настанет день, и преступное правительство левых погонит свой народ из его домов».

«Пожертвования: перед „ужасными днями“ (так Хана Коэн буквально переводила с иврита понятие „Дни Трепета“) деньги будут разделены поровну: 1) нуждающимся в Неве-Эфраиме, 2) семье из Офры, отец которой погиб в цвете лет (отдал жизнь за страну) и оставил вдову с 9 детьми, плюс усыновленных им трое детей.

Чтобы не быть неблагодарными, мы обязаны помочь им. Рав Яков Ройтман».

«Семья Гортман приглашает в пятницу вечером всех на рюмку в честь рождения дочери Авиталь».

«Парикмахерская открыта по утрам в понедельник и среду. Очередь заказывать у Руги Музель, а краску приносить с собой».

«Благословенны приехавшие жить в Неве-Эфраим, семья Воробьевых и двух их детей! Они пережили Чернобыль, и рав Яков Ройтман лично обращается к каждой семье – помочь, чем возможно, этим людям».

«Частные уроки по математике, все классы, удобные цены. Юдит Гросс».

«Добро пожаловать, Нурит Шамра, девушка из „национальной службы“, она вселилась вчера в „караван“ 57. Все, кто имеет лишнюю мебель, картину и т. д., – приносите ей!»

– Ага, Кондрат, у нас появилась соседка. Надо зайти и подарить ей наш складной столик...

«Базар: в среду распродажа головных уборов у Сары Элиав. Стоит-таки взглянуть, есть чудные шляпки, и недорого».

«Просим жителей поселения реагировать насчет собак. Сообщите – за или против».

– Ну вот, – сказала Зяма псу. – Хорошо бы нас выгнали из-за тебя, Кондратий... Мы перестали бы митинговать у кнессета, ездить через арабов и жить в картонной коробочке. Правда, ты бы потерял возможность носиться как угорелый и удобрять участок Наоми Шиндлер... Гулял бы на ниточке. И в этом есть немало привлекательного. Так ведь не выгонят. Побузят и отстанут... Все? Нет, вот, на обороте:

«Малка Рот, Номи Франк, Руги и Шейна Крейгель, и все другие, что добровольно и бескорыстно помогали новеньким в последние два года, – будьте благословенны, а плату получите от Всевышнего!»

– Интересно, что имеется в виду – загробная жизнь? – спросила Зяма. – В таком случае, надо полагать, за платой они не поторопятся... Предпочтут надолго отсроченный чек...

Нет, скучный сегодня «Листок» и до противного грамотный. Похоже, Хана выучила русский язык...

Пес уже бился в закрытую дверь – рвался наружу. Издалека чуял приближение Мелочи.

– Беги, встречай!

Он скатился по лесенке и помчался вверх, в гору, чтобы скорее облизать потную и липкую от мороженого, купленного по пути у Арье, физиономию Мелочи...

9

...Витя бродил по гигантскому складу контейнеров, искал свой багаж. Там лежала скрипка и необходимые ему инструменты для настройки фортепиано.

Багаж – черт с ним, без мебели и подушек можно прожить, но инструменты – это живой заработок. Скрипка же дорога как память о мудаковатой юности.

На огромном металлическом контейнере, куда мог свободно въехать грузовик, белой масляной краской было написано: «Марио Освальдо Зеликович».

Печать взломана, дверь приоткрыта. И в глубокой темноте, между непристойно задранными ножками стульев, углом буфета и мягкими тюками, Витя заметил господина Штыкержолда, стоявшего как-то неестественно прямо и неподвижно.

Сердце у Вити ухнуло, упало и застряло в больном его сфинктере. Он понял, что мар Штыкержолд, вероятно, мертв и стоит здесь в ожидании торжественного захоронения. Ведь суббота. А в субботу у этих здесь попробуй похороны человека.

Витя подумал – хорошо-то хорошо, что старый паскудник отчалил, да ведь новый на смену явится, тоже кровушку станет пить.

И тут он заметил, что мар Штыкержолд абсолютно жив и готов не к похоронам, а, скорее, к банкету. Во всяком случае, из кармашка его пиджака (пиджак в этом климате!) торчит уголок красного платочка.

– Виктор, – сухо, как всегда, произнес мар Штыкержолд, – почему ты не на работе?

Он говорил по-русски. Отчитывая Витю, этот гад всегда переходил на свой паршивый русско-польский, который вывез из Варшавы пятьдесят два года назад.

– Так что?! – огрызнулся Витя. – Полосы на четырнадцатое со вчера у вас на столе.

– Ви завязали у политике, – сказал Штыкгерголд, стоя между задранными ножками стула по-прежнему неестественно прямо – руки вдоль пиджака. – Ви облитэратурили «Полдень». Утжежелили. А публика хочет легкого, веселого...

Мимо них, бодро толкая перед собой багажную тележку с контрабасом и, по обыкновению, омерзительно виляя задом, проехал этот пылкий идиот, контрабасист Хитлер. На ходу он подмигнул Вите и подобострастно крикнул:

– Надеюсь, коллега, вы не опоздаете на репетицию? Витя отвернулся, затосковал. В который раз он подумал, что ненависть – это экзистенциальное чувство.

– Зачем бы вам не делать пару полос для гомосексуалистов? – спросил мар Штыкгерголд, провожая взглядом виляющую задницу контрабасиста Хитлера.

Это гнусное предложение оказалось последней каплей в нацеженной до краев – за пять лет – чаше Витино терпения.

– Мар Штыкгерголд, – с тоской проговорил он, преодолевая себя и понимая, что теряет работу, – мар Штыкгерголд, как ты надоел нам, блядь!

Сердце ухало, он вспотел и задыхался...

...А, вот оно что – душно! Тетка опять выключила кондиционер, воспользовавшись тем, что Витя задремал. Она мерзла, как и положено в ее восемьдесят пять лет, а он, как и положено при его полноте, задыхался и мучался.

– Витя! Мне пора капать глаза. – Тетка стояла над его потным телом, распростертым на постели. Впрочем, сказать, что она стояла – над – было неточным. Тетка такого крошечного роста, что в темноте ее можно спутать с его любимицей Лузой, персидской кошкой изумительного, редчайшего голубого цвета. Тем более что над ее головой всегда колышется облачко голубой седины, похожей на флер грациозной мерзавки Лузы.

Тетка еще была похожа на старенького Бетховена, уменьшенного раз в шесть.

– Витя! Пора капать глаз!

– Так что! – огрызнулся он тем же тоном, каким несколько мгновений назад беседовал с маром Штыкгерголдом.

– Так что, я не имею права задремать на минутку? Может, я уже и сдохнуть не имею права?

Первым делом он включил кондиционер. Потом закапал тетке в оба глаза капли против глаукомы. Смерил ей давление – сто шестьдесят на девяносто, терпимо. Он вообще ухаживал за ней, как мог.

Витино благосостояние зиждилось на тетке. Она должна была жить, хоть ей и надоело это идиотское занятие. Витя был откровенен и груб. Под ее пенсию и квартирные он взял в банке ссуду на три года и купил роскошный «Макинтош». Придя домой, сказал ей озабоченно:

– Юля, ты должна жить еще три года.

– Ладно, – вздохнув, согласилась та.

На днях тетка должна была получить пять тысяч марок – компенсацию из Германии за то, что во время войны она с детьми была эвакуирована в Сибирь, где от дифтерита умерли ее трехлетний сын и годовалая дочь, а от тифа – вернувшийся с фронта муж, почти целый, только без пальцев правой руки.

Считалось, что пять тысяч марок от добрых немцев – неплохая компенсация за три эти жизни, а также за ее дальнейшее нескончаемое одиночество.

Ай, при чем тут немцы, да еще эти несчастные, в третьем поколении! А кто кому НЕ должен платить компенсации? Может, украинцы – евреям? Или литовцы – им же? А русские – евреям? А евреи – русским? А узбеки – таджикам? А монголо-татары всем остальным? Смерть – это еще не самое страшное. А кто заплатит всем нам за это мерзкое тягучее унижение, за эту медленную подлость, за этот грязный минет, называемый жизнью?..

Вожделенные марки Витя собирался потратить на хороший лазерный принтер. С немцами разберемся.

– Я запеку рыбу в духовке, – сказал Витя. – Давно я не делал рыбы в кляре.

– Не хочу я твою рыбу, – сказала тетка. – Ты ее всегда передерживаешь и даешь много специй... Отвари мне картошки. Нет! Знаешь что – лучше сделай бульон.

– Мне осточертели твои постоянные бульоны!

– А моя постоянная пенсия тебе не осточертела? – спросила она.

– Пенсия – нет. Живи вечно.

– Живу, – сказала тетка.

Витя нацепил фартук и стал разделять курицу для ежедневного теткиного бульона.

Интересно, подумал он, из чего вырастают эти дневные и ночные кошмары? При чем тут багаж, например?

Восемь лет назад он прибыл в Израиль против теткиной воли, без всякого багажа, со скрипкой в одной руке и ящичком с инструментами для настройки фортепиано – в другой.

Он вспомнил про две полосы для гомосексуалистов, которые посоветовал ему делать господин Штыкгерголд, рассмеялся и подумал: шутки шутками, а ведь и вправду на разросшемся газетно-журнальном рынке русского Израиля не хватает, пожалуй, только газеты для сексуальных меньшинств...

* * *

Вообще, в средствах массовой информации русского Израиля (за исключением солидной газеты «Регион» и отчаянного в своем одиноком бесстрашии еженедельника «Полдень») по-хозяйски разгуливали бакинские ребята с ножичками за голенищем и кишиневская команда «с соседнего двора». Иногда – как случается между дворами – они выходили драться цепями и кастетами. То есть публиковали на страницах своих изданий статьи, тон которых напоминал пьяный ор слободского хулигана.

Порой они объединялись, как, бывает, объединяются дворовые команды для игры в футбол. И тогда в том и другом лагере появлялись статьи с однообразной непристойной сволочью, которую они обрушивали на некое третье издание.

Это были профессионалы-головорезы. Захват той или другой газетенки, которую они намечали себе очередной добычей, происходил мгновенно и бесшумно: просто в один прекрасный день газета выходила с новым корректором, а убитые бывшие редакторы никогда и нигде больше не появлялись, их то ли растворяли в кислоте, то ли отсылали распространять «Группенкайф». А содержание и тон газеты резко менялись.

Это был удивительный сплав сексуально-политических тем. Статья под названием «Поговорим о вершинах оргазма» соседствовала с прокисшими архивными данными КГБ города Полоцка, представляющими собой занудную обстоятельную переписку младшего следователя со старшим, а также обнаруженные воспоминания расстрелянного корректора газеты «Минская правда», проливающие свет на некую намеренно пропущенную опечатку в рассказе Бабеля, когда-то в этой газете опубликованного...

Вообще материалов, так или иначе связанных с деятельностью Комитета Госбезопасности, печаталось так много, они были столь разнообразны, развесисты и малоправдоподобны, что выходило одно из двух: либо истории эти сочинялись не отходя от редакционного компьютера, либо в прошлой своей жизни бакинские и кишиневские ребята имели домашние связи с этой приветливой организацией.

С прибытием в страну невероятного числа журналистов (создавалось впечатление, что поголовно все азербайджанские и молдавские евреи на родине занимались журналистикой)

русский газетный рынок обнаружил способность разрастаться до гипертрофированных размеров. Газеты размножались путем деления. Происходило это следующим образом.

Сначала крепко страховалось редакционное оборудование, так что бывалые страховые агенты изумлялись той легкости, с какой им удавалось уговорить владельца компьютера, принтера и ксерокопировальной машины застраховать на приличную сумму это подержанное барахло. Выплаты по страховке продолжались месяцев пять, после чего помещение редакции подвергалось ограблению.

Ведь это случается: ты пришел утром, как цуцик, работать, тяжким трудом зарабатывать на жидкий свой эмигрантский кисель, ну ключом дверь отпирать, а она, голубка моя, уж взломана, а в комнате пу-у-сто... (для убедительной слезы подставляли редакционных наборщиц или еще какую-нибудь дамскую мелюзгу).

Получив жирную сумму страховки, два друга-кишиневца (или три друга-бакинца), до сего дня любовно выпускавшие общую газету, вдруг не сходились в принципиальном вопросе (это тоже случается), разбегались в стороны и там, каждый в своей сторонке, в своем закутке, основывали новую – очередную, тринадцатую или четырнадцатую израильскую газету на русском языке.

Существовали они, как правило, недолго – удушливая конкуренция, неглубокое знание сложнейших местных реалий, отсутствие корешей в правительственно-ведомственных и армейских структурах делали свое дело: прыгая с кочки на кочку и все глубже забираясь в болотные дебри, эти ребята рано или поздно, оскользнувшись, уходили в трясины...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.